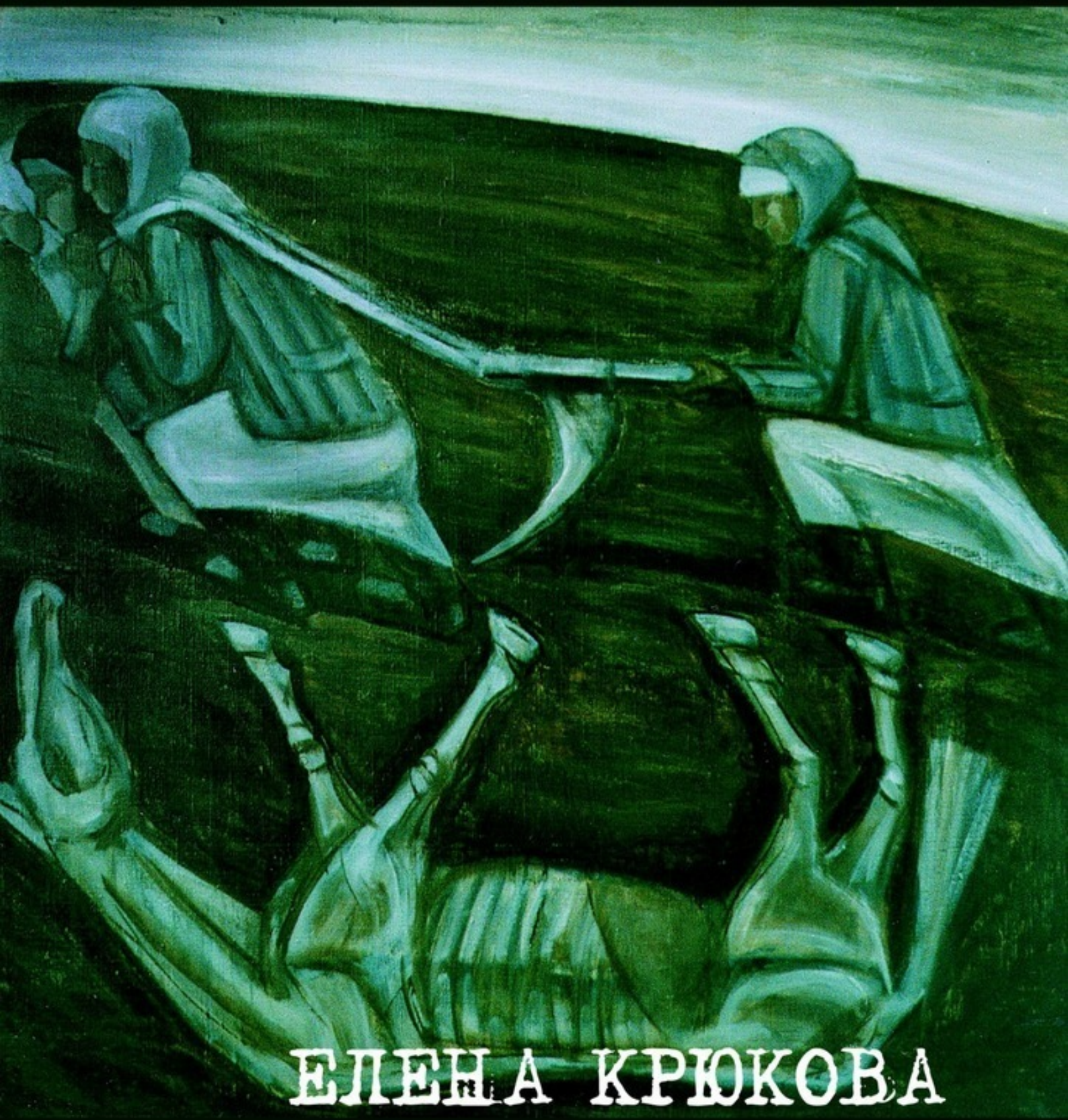


ЕЛЕНА КРЮКОВА

ЗЕМЛЯ

Елена Крюкова

Земля

«Издательские решения»

Крюкова Е.

Земля / Е. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-903429-8

Русская земля и русские крестьяне.Двадцатое столетие.В судьбах крестьянина Власа Ковылина, башкирки Земфиры Зариповой, девчонки Воблы, детей Власа — Спиридона и Сусанны — отразился, как в зеркале, весь минувший век, страшный и прекрасный…Эта книга — своеобразная икона, с ее таинственной, небесной обратной перспективой.Огромная фреска, и в ее пространстве-времени — русский народ.

ISBN 978-5-44-903429-8

© Крюкова Е.
© Издательские решения

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВОБЛА СУШЁНАЯ 6
(картина маслом в сельском клубе. Праздник урожая) 6
(псалом Власа Ковылина первый) 11
(запись Воблы в толстой тетрадке) 13
(картина маслом в сельском клубе. Летом на Волге) 14
(Караваево-сельцо. Дом Ковылиных) 16
(рассказы Воблы о прежней жизни) 19
(запись Воблы в толстой тетрадке) 25
(церковная фреска, во сне увиденная тов. З. Зариповой) 26
ГЛАВА ВТОРАЯ. ХЛЕБ СО СЛЕЗАМИ 29
(запись Воблы в толстой тетрадке) 29
(Дочушка. Голос Сусанны) 30
(запись Воблы в толстой тетрадке) 35
(купание коней. Купание Земфиры. Влас переплывает Волгу) 36
(тайная картинка маслом тов. З. Зариповой. Девица ждет свиданья) 37
(любовь Земфиры Зариповой и Власа Ковылина. Спиридон меж ними) 38
(запись Воблы в толстой тетрадке) 42
(отъезд Власа Ковылина на поселенье) 43
(картина маслом, никто не видел, художник на задах сам сжёг. Раскулачивание) 49
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПАХОТА НА ЛЮДЯХ 55
(запись Воблы в толстой тетрадке) 55
(картина маслом. Художник сжёг от греха. Как ехали в Сибирь) 56
(воспоминание о счастье: в телячьем вагоне) 62
(земляная печка) 63
(весна в Сибири) 72
Конец ознакомительного фрагмента. 76

Земля

Елена Крюкова

Памяти русских крестьян двадцатого столетия

Дизайнер обложки Владимир Фуфачев
Иллюстратор Гульнур Фуфачева

© Елена Крюкова, 2018
© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2018
© Гульнур Фуфачева, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4490-3429-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ой ты Волга, Волженька река.
Ты няси мене да в лодоцке лехкой.
Ты няси мене да в лодоцке лехкой,
Поняси к землице-землицке цюжой.
Ах на цюжой землицке мене суждёно жить,
Там-то жить, да тамо голову сложить.
А головою бедненькою я не дорожу:
Я сторонушку родиму в памяти держу.
Ты сторонушка родимая моя.
Што ни день-дянёк, то вспомяну табе.
Што ни день-дянёк, то вспомяну табе,
Всю цюжбину я слезама оболью.
Всю цюжбину я слезама оболью,
Да воспомню Волгу, Волженьку мою.
Уж ты Волга, Волженька моя,
День да ноцьку лью я слёзки по табе.
День да ноцьку лью горюцюю слязу.
По табе молюси, Богу Осподу крещусь.
Богу Осподу усердием крещусь,
Штоб табе да хотя б едным глазком
Увидати, да скупацца ли в табе,
В жолтой милой, Волга, Волженька, воде…

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВОБЛА СУШЁНАЯ

(картина маслом в сельском клубе. Праздник урожая)

Коней под уздцы держали. Кони бились и ржали. Между двух крепко врытых в сухую жаркую землю жердей натягивали красные транспаранты. На одном было намалёвано яркой белой, снежной краской: ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ. На другом: ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ. Музыка так и лезла в уши: взвизги песен, треньканье балалаек, частая дробь рассыпных, как просо, частушек. Бабы завели печальную – раздался басовитый сердитый голос: печаль – прекратить! Печаль оборвалась, как и не было ее. Подъезжали, тормозили у сельсовета грузовики, отпахивались кузова, руки быстро расстилали громадную холстину, на нее из кузова золотом – на солнце – лилось тёплое, крупное зерно. Накрытые, тесно, в ряд составленные столы стояли близ красных полотнищ. Наспех накинутые скатерти морщились. Латунный самовар блестел фальшивым, детским серебром. У столов на скамьях стояли корзины, доверху полные нарезанным хлебом и варёными яйцами. Быстрые бабьи руки метали на столы тарелки и миски с жареными сазанами, с варёными судаками, горкой наваленная, оранжево-золотая щучья икра мерцала в салатнице, в нее вертикально была воткнута столовая ложка. За грузовиками, по пыльной высохшей дороге, к сельсовету подгребали возы. Колеса катились криво, тряско, то и дело ныряя в выбоины. С возов мужики сгружали мешки. Там тоже было увязано зерно. К столам грязные грубые руки бережно несли ящик, в ящике румянились, изгибались печёными кольцами городские баранки. Мальчика и девочку, с красными галстуками на тощих шейках, усадили рядом на два колченогих стула. Мальчик старательно, от усердия пыхтя, заплетая воздух тонкими пальцами, играл на гармошке-хромке, девочка на щипковом инструменте, смутно напоминающем ягодное лукошко. Из-за затылков и потных спин донесся довольный бабий голос: «Гли-ко, как Зёмка Дашку на думбыре хорошо научила! заслушаесси!» Под натянутыми на жерди красными тряпками медленно шла мать. На ее руках сидел безрукий и безногий ребенок. Мать крепко держала живое брёвнышко и ласково прижимала к обтянутой цветастым ситцем груди. Её раскосые глаза блестели гордо и мрачно. За столом, возле серебряного сгустка самовара, сидел седобородый старик, усы и борода его блестели на солнце серебряными нитями; он сам смахивал на этот старый самовар. Трогал заскорузлым пальцем бок самовара в изобильных клеймах, осторожно поворачивал краник, похожий на сказочный ключик. Сейчас повернет, и кипяток брызнет, и чудо явится! А какое? Этот кипяток превратится в вино. А зерно в кузове – в россыпи золота. Нам не надо золота, мы и так богатые! Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне остановка! Парень в пилотке облапил девушку в красном платке, туго затянутом узлом на затылке, и повёл в танце. Рядом тоже кружились пары. Места вольно поплясать не было, все бестолково толклись на жарком земном пятачке нарядной мошкарой. К столам ковылял ещё один старик; он тащил в руках соты, мёд капал в пыль. Соты, ахая и восхищаясь, приняли у пасечника, как ребёнка, бабы; ловкие бабьи руки положили соты на чёрный, в расписных пионах и тюльпанах, жостовский поднос и разрезали свиным тесаком на кусочки. Люди брали куски сот и, жмурясь, жевали воск, глотали вместе с мёдом, чмокая и закрывая от удовольствия глаза. Морячок в белой бескозырке, на побывку в родной дом приехал, перебирал ногами, отплясывая чечётку. Пыль клубилась под его ногами, обутыми в твёрдые, будто железные башмаки. Шнурок развязался, и моряк посреди чечётки чуть не упал. Рядом со стариком с серебряной бородой сидела дородная баба в белой рубахе, в красной понёве. На её плечах лежал белый снег необъятного платка, кисти вились метелью, по белизне бежали и вспыхивали алые, гладью вышитые розы. Она глядела на старика

долгим и ласковым взглядом, потом из её глаз быстро выкатились две слезы, и она, стыдясь, обняла старика за шею. Он хотел обернуться и не мог. Их обоих заслонили пляшущие; парочки наклонялись туда, сюда, танцевали бойкую кадриль, мужики вертели девок, девки вздёргивали загорелыми ногами и повизгивали. Когда танцующие кадриль удалились в пыльное жаркое марево, дородной бабы уже не было за столом рядом со стариком. Напротив него, на другой стороне стола, как на другой стороне белого снежного поля, стояла тощая девчонка с остроугольной, почти лисьей мордочкой. Сивые волосенки девчонки, заплетённые в косы корзиночкой, нестерпимо горели на солнце. Старик зажмурился. Поодаль молодая бабёнка в стеганой фуфайке быстро, зло вытаскивала из ящика тёмные бутылки, отряхивала их от присохшей соломы и бухала их об стол. На краю стола уже стояла армада бутылок, в них, внутри, таилась пьянящая корчма, иначе самогон. Бабёнка вытащила из ящика все бутылки, окинула их злым прищуром и тихо свистнула сквозь дыру от зуба. Через головы празднующих она увидала в толпе знакомое лицо, подняла руку и помахала ею. «Эй, братишка!» Человек не оглянулся. Он смотрел на раскосую мать с безруким и безногим ребёнком на руках. А потом повернул голову, и серебряный луч от залитого солнцем самовара выстрелил ему прямо в небритую, скуластую рожу. На его шее, около уха, светилась синим наколка: СЛОН. Он зажмурился и тихо выругался. Тарахтели моторы, подъезжали еще машины. На крыльцо сельсовета вышел хромой мужик с деревянной ногой и говорил громко, чуть завывая по-собачьи. Кто слушал его и бил в ладоши; кто продолжал танцевать; кто уже жадно открывал консервным ножом бутыли, отвинчивал и кидал в пыль пробки, вытаскивал затычки. Люди подставляли стаканы и кружки. Ароматная корчма булькала, ее серебряные, чуть мутные струи звенели о дно посуды. У одной из пляшущих баб вывалилась из волос шпилька, развился пучок, рассыпался по плечам золотым зерном. Она, глубоко и часто дыша, села за стол, закалывала развившиеся волосы, высоко поднимая голые смуглые локти, золотой пучок снова копной возвышался на её затылке, она ласково глядела из-за самовара на седобородого старика и тихо смеялась. На её губе поблёскивал мелкий пот. Рядом с ней девка, даром что жара, куталась в чёрную набивную шаль с громадными красными тюльпанами. Баба вцепилась в девкину шаль и стащила ее. «Што, Душка, запарисся, как в банёшке! Взопрешь! Ай замерзла?» Суглобый, жалкий мужичонка, видом плоше обломанной слеги, суетился возле стола, подставлял жестяную кружку под струю самогона. «Макарке, Макарке-ти плеснитя, Макарку не забудьтя!» Вдали, у крыльца сельсовета, стояла, опираясь на суковатую палку, горбилась старуха. Её страшный, широкий и длинный, будто щель в рассохшемся комоде, рот по-жабьи шамкал беззвучно. Загремело, весёлым грохотом разорвало сгущенный от криков и плясок воздух, и к столам подъехал трактор. Его кабина была обтянута красными лентами. В капот был воткнут красный флаг. На нём, под ветром, жестоко мнущим горячими пальцами алую ткань, было вышито гладью: ПРАЗДНИК УРОЖАЯ. Из кабины трактора весело глядел на людей парнишка в заломленной на затылок кепке. Перемазанное сажей его лицо сияло ярче солнца. Он хрипло крикнул в толпу: «Поздравляю всех, колхозники! Мы перевыполнили план! С голоду страна не помрёт!» С крыльца сошёл хромой мужик с резкими, глубокими морщинами во всё сухое, почти деревянное лицо, протянул руку к трактористу, плюнул на землю окурок с колючей губы. «Типун тебе на язык! С голоду! Да у нас какое изобилие! Пусть другие страны нам завидуют!» Из-за столов в ответ ему кричали: «Верно калякашь, председатель!» За крыльцом сельсовета старшие школьники заколачивали последние гвозди в уличную сцену. На доски самодельной сцены уже выбежала бойкая малявка, коски вбок торчат, банты красные, затянула тонюсеньким голосишком: «Сталин наш отец родной! Солнце жизни золотой! С ним цветём, как васильки…» Слова забыла. Испуганно переступала с ноги на ногу. Бледнела. Ноги босые. Платьишко белое, насквозь просвеченное солнцем. «Мы без горя и тоски!» – сердито запела, подсказала ей, забывчивой, девочка с думбырой. «Мы без горя и тоски!» –

послушно и тоненько протянула малютка. С запада налетали пухлые, необъятные тучи, таких на земле не бывает; шла небывалая гроза, и небо темнело на глазах, наливалось жуткой синевой и кромешной чернотой. Из-за грузовика показались коровы; отбились от стада, а может, пораньше, с полным выменем, шли домой. Хромой председатель сердито замахал на них руками. Ловкая баба вывернулась из-под его локтя, с пустым ведром; цапнула корову за ногу, погладила, остановила. Вымя и правда набрякло. Молоком, дождем, снегом. Баба подставила под вымя ведро, быстро присела на корточки и стала корову доить. Цепко хватала соски, умело нажимала, отгибая чуть вбок. Молоко зазвенело о стенки ведра. Звон этот слышал только старый хромой председатель да сама доярка. Потное бабье лицо блестело, лоснилось. Молоко лилось в ведро. Хромец облизнул губы. «Подоишь, дашь мне глоток?» Баба подмигнула. «Ай табе корчмы не хватат?» Рыжий высокий мужик в черной косоворотке командовал народом, взмахивал руками над накрытым столом, будто дирижировал полковым оркестром. Он водрузил на стол корзину с яблоками. Молодуха в стёганке разрезала и раскладывала по фаянсовым тарелкам жареную курицу. Ей заботливо поднесли на блюде огромного жареного гуся, и молодуха снова свистнула сквозь зубы. Разделав и разложив гуся, обнесла тарелками все застолье, вытерла жирные пальцы о фуфайку, полезла в карман, вынула пачку папирос «Беломорканал», долго чиркала спичкой, закурила. Толстая баба в завязанном на лбу платке из красного атласа несла на газете ещё теплый пирог с капустой. От пирога отвалился кусок, упал в пыль, под ноги людям. Налетели голуби, стали клевать. Небритый мужик с наколкой СЛОН возле уха наклонился, выкатил из-под стола великанский арбуз и шмякнул его рядом с самоваром, и самовар аж подпрыгнул. Тесак небритый мужик не стал искать на столе, среди посуды. Он вынул из кармана красиво сработанный финский нож, с чуть загнутым вверх, по всем правилам, остриём. Замахнулся на арбуз, как на человека. И нож в него вонзил, как в человека. И разрезал сладострастно, с хрустом, дико, наслаждаясь, с шумом подбирая слюну. Весь распахал. Из арбуза тёк сок на чистую скатерть. Внутренность арбуза, цвета крови, сияла. «Сахарный!» – закричала тощая, видом как сухая тарашка, девчонка и захлопала в ладоши. «Налетай, товарищи!» – крикнул небритый. Люди стали протягивать руки. Вонзать зубы в красную мякоть. Шумно втягивать сладкий красный сок. Все глубже окунать щеки, носы, рты в холодное сладкое, красное месиво. Бабьи руки подносили на круглых, как солнце, блюдах соленые помидоры и малосольные огурцы. Расставляли на столах. Тащили трехлитровые банки с соленьями. Раскладывали по мискам красный пахучий хренодёр: пропущенные через мясорубку помидоры, чеснок и корневища самого злого на свете хрена. Жару взрывали крики: «А картошку! Картошка варёная где?!» Баба в белой рубахе и красной понёве, что, чуть не плача, незаметно отошла от стола, теперь стояла у горы зерна, высыпанного из грузовика на землю. Она низко наклонялась над зерном, брала его горстями, пересыпала из ладони в ладонь. Ее лицо было залито слезами, будто гроза уже началась, пошёл дождь и в лицо ей хлестал. Она поднесла зерно в пригоршне к мокрому солёному лицу и окунула лицо в зерно. Так, с прижатыми к лицу руками, и пошла прочь от зерна, слепо, качаясь, как пьяная. Кони, впряжённые в утлые телеги, мотали гнедыми, воронымы, чубарыми головами. Ноздри коней раздувались, ловя людское веселье и запахи людской еды. Парнишка, налысо стриженный, хрипло трубил в старый охотничий горн. Пятнистая старая собака спала под столом, она сомлела от жары и угощенья. Рядом с ее мордой лежала недогрызенная гусиная кость. Возле столов, в пыли, валялись арбузные корки. Баба с золото-русыми волосами, убранными на затылке в пучок, поправила на груди жемчужные бусы, встала и потянула за руку белобородого старика: айда плясать! Старик стукнул ее по руке, как отрубил ей руку. Баба аж ойкнула и прижала руку к груди. Нянчила, как ребёнка. Больно было. Старик разлепил губы: «Стар я для танцев-ти». Тощая, как астраханская вяленая тарань, девчонка глядела на старика неотрывно. Поедала его зрачками. Губы ее пересохли. Ей хотелось пить. Из толпы ей в руки всунули орущего младенца: подержи!

Она послушно держала, чуть присела под тяжестью детского тельца, сама ребенок. Смотрела младенцу в лицо. Младенец странно был похож на нее. Потом солнце ударило лучами накосо, наклонилось, как круглое жёлтое зеркало, и девчонка со страхом увидела, что у младенца лицо старика. Точь-в-точь лицо старика с серебряной бородою, что все так и сидел за самоваром, мрачно сведя серебряные брови, смотрел на цветной кипяток застолья, и всё сильнее, всё сердитее брови сводил. Ноздри раздувал, как конь. Ловил дух корчмы, и свежих арбузов, и солёных помидоров, их из синевато блестевшей банки вылавливала чья-то узкая, тонущая в рассоле, нежная рука. Баян ударил рядом взрывом радости, звуки разбегались из-под смуглых корявых рук баяниста весёлыми зверьками, почуявшими в жару водопой. Далеко, за камчатными смятыми скатертями, за столами на угрюмых мощных деревянных ногах, блестела Волга – она переливалась серебряной иерейской парчой, старики уже забыли этот церковный блеск, а молодые и не знали вовсе. Волга шла медленно, с севера на юг, и наравне с ней шли с запада мрачные тучи. Тучи постепенно заволакивали небо и уже наползали на слишком, до боли, яркое солнце. Баба в белой рубахе и красной понёве, далеко отошедшая от полных яств столов, закинула лицо к небу и закрылась от солнца рукой. Так стояла, застилась. Вдруг на её рубахе стало расплываться красное пятно. Оно все росло, захватывало ее спину, оборачивало красным флагом грудь. Колени бабы согнулись, и она тяжело, мешком с картошкой, упала ничком на выжженную, весело гудящую от топота многих ног землю. Её руки протянулись по земле. Ногти царапали землю. Платок сполз с её головы, и жаркий полдневный ветер шевелил волоски на её затылке. Туча ползла уже рядом с солнцем. Да не могла его ухватить в черные зубы. Серебряный старик вскинул голову. Руки его слепо пододвинули к самовару чашку, отвернули кран в виде серебряного ключика. Кипяток полился в чашку, а старик всё смотрел вдаль. Его губы вылепляли: «Начальничек, ключек-чайничек, отпусти на волю!» Кипяток, булькая, перелился через край чашки. Тощая тарашка едва успела выдернуть чашку из-под самовара и закрутить кран. По дороге к сельсовету ехали еще три грузовика. Над их кузовами трепыхались красные флаги. Горами возвышалось зерно. Из горы зерна торчала палка, на ней бумажный плакат: ДАДИМ СТРАНЕ УРОЖАЯ! Старик вскинул голову. Прямо на него с крыльца сельсовета смотрел ещё один плакат. На школьном картоне учениками было нарисовано лицо, его знала вся страна и весь мир. Усы на лице топорщились. Брови на лице шевелились. Глаза на лице смеялись. Лицо, криво-косо, по-детски намалёванное, оживало на глазах. Старик медленно поднялся за столом. Смотрел в нарисованное лицо. Потом опять бессильно сел. Положил руки на стол. Все вокруг гудели, ели, гомонили. Руки старика лежали на столе ладонями вверх. Он отвернул голову от усатого плаката. Смотрел вниз, чуть вбок. На землю. На землю под ногами. На спящую под столом собаку. На арбузные корки. На босые ноги худой тарашки. Туча наконец наползла на солнце и скрыла его золотой свет, наступил синий кромешный мрак, в нём гуляли и били в землю молнии, грохотал страшный гром, и тут старик поднял глаза. Тощая тарашка глядела на него. Они оба глядели друг на друга. И раскосая мать, с безруким и безногим ребёнком на руках, поющим весёлую песню, глядела на них. Молния ударила прямо над столами, попала в серебряный самовар, все завизжали, баян выпал из рук баяниста и упал в грязь, скатерть затлела, по столу побежало пламя, все врассыпную прочь от стола бежали, а ливень хлестал людей наотмашь по плечам, головам, спинам. Хлестал по золотому зерну. Усатый вождь на плакате враз вымок. Картон свисал клочьями. Золотоволосая баба грудью легла на пироги, спасая их, закрывая сдобным белым телом. Жемчужная нитка расстегнулась у неё под затылком, на полной гибкой шее, и скользила по скатерти на землю. Земля жадно раскрывала сухой рот. Она хотела пить. Она пила серебряную кровь дождя и тихо вздыхала. Старик встал из-за стола. Камчатная скатерть потянулась за ним. Посуда падала в грязь, скользила по ней, уплывала. Тощая тарашка ринулась к старику и прижалась головёнкой, с косами корзиночкой, к его животу, перехваченному верёвочным поясом. Старик

крепко прижал её к себе. Грузовики гудели, как при воздушном налёте. Гром громыхал уже без перерыва. Будто булыжники с грохотом катились из рваных лохматых туч на жестяные крыши, на трактор, на хлеб в кузовах. Кони ржали и метались. Корзина с баранками упала в грязь. Ливень сбивал людей с ног, они падали в грязь и беспомощно ползли по грязи, разевая в крике рты. Старик обнимал тощую девчонку и шептал забытые слова мокрыми губами. Он молился.

(псалом Власа Ковылина первый)

Миленька, землица, мать чёрна, не остави мене сиротой. Осподи, Табе бросаю словеса мои, как из кулака зёрнушки в пашню чёрну, теплу. Осподи, грешен я, Влас грешнай есмь, аз немощнай, дай жа Ты мене силушки на работу каждодневну, а ноченьки спокойной. Землица родненька, слышу табе, вижу табе, ежечасно помышляю о табе. Готов табе орати и сеяти в табе зерно и ждати всходов твоех. Обезумети лехко, безумье рядышком, услыши мене, мою просьбишку, штобы в разуме мене оставити до смертнаго часа мово. Матерь, свята и святочна ты, в грязи и в роскоши едина еси. Чёрно тело твое тепло ласкали и орали отцы-праотцы, и аз грешнай должу путь ихний и соху иху держу крепко. Аз есмь грешнай Влас человек сиречь мужик, мужик глупай, да сноровочка в руках живенька, и я ей живу и тружуси, да будеть так. Птица я малая, и напрыгнеть на мене зверь лютай и съесть, косточкими хрустя; червь я скользок и по земле ползу, в земле, да не червь. Оспода мово зрю, и Оспожу мою Богородицу вижу скрозь тучи, скрозь кровушку текущу, она жа краснама лезвиями землицу нашу ноне вдоль-поперёк разрезаить. Давно тому извергла мене мати моя изо чрева своно трудовова, пятнадцата робёнка, последыша, и аз бысть Власием наречён. В книге церьквы нашей достопамятно то начирикано грамотнам дьячком Колывановым Хвеодором. Кормить матка дитятку своно, кормить и телка корова, кормить и овца баранчика, и шёрстка шёлкова на ей яглицца от радосте. Научен лоб крестити от младосте, и на колена валицца умею, да не стыжуси молицца Осподу моёму и Небеснай Матере моея. Кажному зверю на землице поклонюси, кажной травинке улыбнуси, и всяка тварь Божиа глас мене подаст, а я услышу ея и возрадуюси. Хто ж я? Телеса ли мои бедныя, грешныя кости мое облепили? и я в тщете моей по земле таскаю их зря? Плоть ли я, вода ли я текуча, снилоси давеча, што река я, и поток широк мой, и по мене, грешному, лодьи вольно плывуть; древняны ли сухия кости мои, ломкия, уж полныя боли ночной, сутёмной? Ком ли глины красной, приречной серце мое, пошто, во имя чево такова сильно бьецца оно? Либо ком енто воска теплова, нежнова, от недогорелых святых свечей, старухи в церькве собрали в корзину, наново слепили, теплай покаместь, да исделали из воска тово шар, а он в ихих ладонях – тук, тук! – ударяить, и дрожать старухи, то объяснити не умея? Мёртвенькай ли я, али завсегды живенькай, и тово не знаю, а знать-ти должон! Спрашивають ли мене: отвечай, падаль! – пытають ли: игде да што, открой! – а я стою, рот на замок, ибо не ведаю, што и как новым осподам калякати, а оне все в чернай коже, и наганы у их за пазухами и за ремнями. И я тихо сам сабе балакаю: аз есмь крепось, и аз стою на краю, и толкають мене ко краю, и вижу, упаду в пропась ноне, да страха нету, хотя присох язык мой ко глотке моея, и драная-рваная одёжа моя, и псы рвуть онучьки мои, и во грязи тяжёлой, липкой глине лапоточки мои. Я не смотрюси в зерькило; загляну глыбко – а там ад есь, блескучи, ровно у жука подкрылия, адовы врата. И трескаюцца жёстко, и сверкають, и качаюцца, манять. Зерькило енто опаснось, енто как на охоте, когды в зимний лес войдеши, а дерева обступають, и ничево не помниши, хто ты такой и как звати табе. В зерькило войдеши и не вернесси. Вот и мы, в красну революцыю впёрлиси, а вытти наружу, обратно, не смогам. По кой, на што нам тогды енто всё? наганы, грузовики енти? Мешки с зерном, зёрнышком приказывають нам волочь в чужи кузова? а што мы с детями ись зимою станем? Нас хто спросил? Нихто не спросил. Тольки приказ. Боле ничево. Ноги у мене болять. Суставы, костяшки все, особливо в ступнях, выламываить. Ежли подстрелять, собаки будуть глодати кости мои и колена мои. Што на земле, землице драгоценнось? Ништо. Одёжа на мене пуста. Шапка плохонька. Невнятно всё енто мене. Не хочу ничево от мира я вещнова; хочу помочи Духа Святаго. Я хрестьянин, а мене опять в руки тискають оружье?! да за што?! За што, вопрошаю?!

А всё округ молчить, притихло, пришипилоси, ровно заец ухи прижал к затылку за осенней кочкой; брюшко к земле прижал. Земля, землица, ты одна нам во спасение дана. И из табе пророс аз, яко лоза; и в табе спущуси, яко всяка кость и всяко мясо, Духа лишёно, спущацца унутрь табе. Ты церьква наша и путь наш, потому што Осподом ты примечена и Ево оком обсмотрена вся. Мы все нищи пред тобой, а ты богата. Пахота нами твоя есь упование нашенско! И век будемо табе пахати и орати, и по осенней теплоте урожай твой собирати! Так мы, люди, Осподом рождёны, так и помрёмы. Царствие Небеснае есь тож земля, землица небесная. Вкусим от нея, и поклонимси ей в свой черед, и тучну землицу ту обозрим восхищенно, и явицца Осподь наш нам, и падем пред Ним на колена, все мы грешныи, сходящи в землю. Нихто жив не останецца. Но лягем в землю как зёрна. И, может так стать, взойдёмы; и родицца род новый от нас умученных. И снову пойдуть по земле, землице, и вновь скажуть обманутым людям правду, она же есь Осподом нашим от века сотворёна. Амень.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Мне очен часто неспица. Когда Влас Игнативич заснёт я сажусь кстолу и пишу отом что видела днём. Ичто слышала то же. Влас Игнативич мне много всево рассказываит. Он говорит ая вижу всех людей про каво он говорит. Иногда они все прячутса в зеркале. И иззеркала вдрук идут наменя. Тогда я отварачиваюс от зеркала крепко жмурюс ишепчу господи спаси со храни. Хоть я вбога нивкакого не верю. Еслибы бог был онбы нам не дал такие муки испытать. Онбы нас иправда спас.

(картина маслом в сельском клубе. Летом на Волге)

Волга – озорная река. В ней и зимой тянет искупаться. В проруби, в полынье. Разного она цвета, Волга. То жёлтая, жёлтенькая, желтей яичного желтка. То суровая, и тучи ходят в ней, как на небе. То изумительно синяя, глаза слепит, какая синяя! На закате алая. Эта алость вспыхивает то золотом, то медью-бронзой. Лежит между берегов такой громадный золотой слиток. Не разрубишь! Не расплавишь… Ночь расплавит.

Пристани, пристанёшки лепятся к берегам. Качаются на волнах. Пароходы колёсами синь взрезают, плицы плюхают по воде, волны разбегаются пенными дорожками. Чайки вьются за кормой. Куда люди на тех пароходах плывут? А к счастью, куда же!

Пароход идет парами, ах Жигули вы, Жигули… Хищно лязгают машины в машинном отделении. Это на палубе все отдыхают, а в трюме все трудятся. В трюме или в тюрьме?

Баржи, вот эти длинные железные, деревянные рыбы: осетры, белуги. С Каспия плывут и обратно на Каспий. Волга великая, проплыть её всё равно что жизнь прожить. Берега плывут мимо, сменяются города и городки, дома сбегают к воде, как коровы и кони на водопой. Церковь на бугре, высоко над водой, стоит. Колокольня вонзается в тучи. Эта церковь взорвана, всё святое добро из нее растащено. А привыкай! Новая жизнь пошла.

Баржи везут в трюмах уголь, нефть, щебёнку, лес, песок, гравий, зерно, арбузы. На баржи с берега лают собаки. А бежать за баржей нельзя, как за автомобилем, можно только зайти в воду и поплыть.

А вон плывут плоты. Плот, это же целая земля! На плоту костёр. На плоту вязанка дров. На плоту палатка, а то и фанерная времянка, от дождя и жары укрывище. На плоту баба наклоняется над котелком, шерудит в нем половником, варит суп мясной, а может, уху. Плотогонам обедать пора. Вода журчит, говорит тайные разговоры по бокам плота, кренятся крепко связанные брёвна, стволы красной сосны. Ещё вчера они были живые. А теперь материал. Из него человек строит себе жилище. Человек у земли всё берет без спросу. Наглый человек! Да иначе не выжить.

В лодках, по всему стрежню, сидят рыбаки. Вёсла сложили. Рыбу ловят! Сети закидывают и проверяют. Сети по вечеру вынимают, когда вечерняя заря разгорится в небесах. На закате рыба бешено плещет, играет. Рыбаки тянут сеть, а в ней вздрагивает, серебряно бьется добыча: малые краснопёрки, сердитые судачки, безумные твёрдые, как стальные, язи и подъязки, ленивые лещи. Лещей хорошо покоптить в железной коптильне на берёзовых ветках, тогда берёза отдаст рыбе свой дух, и вкусноте не будет предела. А вот и красная рыба попалась: длинные узкие стерлядки, с костяными шипами на боках, с толстыми спинками и мордочками острыми, как сапожное шило! Этих надо выбрать первее всех и сложить на дно лодки отдельно, в отдельный садок. Уха из стерляди отменная. Оранжевые звёзды жира в ней лениво плавают. В стерлядке костей нет, ешь хоть всё в ней, всё жуй, кроме хвоста и острого любопытного носа.

А зачем человек ест всё живое? А низачем! Не спрашивай! Так Богом придумано.

Да ведь Бога-то сейчас никакого нет!

Любовники сидят на берегу. Они обнимаются. Оба в белых рубахах. На ней юбка нарядная, и не боится в земле испачкать. На нём портки суконные, до колен закатанные, и жилетка плисовая, цвета спелой вишни. Голые загорелые ноги вперёд по песку вытянули. Обувка рядом стоит. Его рука лежит на её плече. Время от времени он закидывает ей голову назад и страстно-прекрасно целует её. Потом оба смотрят на Волгу. Река, как золотая забытая рака, слепит им глаза. Женщина заслоняет глаза ладонью. Смеётся: от света глазам щекотно! Баржа плывет вдали. А может, это невероятных размеров осётр, и на нем маленькие, как блохи, люди бегают, суетятся. Железный осётр, железный плёс. Нам только кажется, что всё

живое. На самом деле наступил железный век. И кони уже железные. И железные сердца. И на железном корабле мы поплывем скоро, дайте срок, в железное, густо-синее небо.

Любовница просит возлюбленного: останься на берегу! Он смеется: уплыву. Из-за излучины медленно движется белый, как праздничный бабий платок, пароход. Он издает протяжный гудок и потом ещё три коротких, отчаянных. Он не хочет тонуть. Хочет плыть и везти на своем горбу людей: бедных, богатых, молодых и старых. Они всё равно все должны доплыть к счастью. Волга нестерпимо сияет на солнце. Чайки кричат. Кто-нибудь да доплывёт.

(Караваево-сельцо. Дом Ковылиных)

Караваево-село, что по берегу Волги в кудрявых горах Жигулях порванным монистом рассыпано, вспыхивает на закате оконными стёклами; за стёклами, меж рам, для тепла натыкана вата, и мухи гудят над затылком, зелёные, будто бутылку разбили, а осколки брызнули. Бутыли у Арины Филипьевны за печью стоят, пустые, и белый день вливается в них, а потом приходят ночные запечные черти и весь день до дна выпивают. Пыль лежит на вате, положенной у щелей меж подоконником и чахлой рамой. На горшках и чугунах коварная пыль. Не всегда мокрая тряпка заботницы Арины Филипьевны пыль смахнёт. Рука тянется, да не всегда и не везде достанет. Пахнет щами, щи бесконечны, как жизнь, живешь-живешь, и всё щи. Когда какие: капустные, то хорошо, с мясом ещё лучше, с куриной ногой тоже сойдёт, пустые, в пост, из кислой капустки, – эх, вырви глаз! уж лучше яблочек мочёных из бочки стащить и сгрызть сладко, втихомолку! – когда из крапивы, это по весне, крапива лишь проклюнется, Арина ее надёргает, кипятком на пороге обдаст, квёлую, влажную, в избу внесёт и на доске мелко нарубит, и в чугун, и в печь, и ложку постна маслица вольёт.

А потом в дверь Влас взойдёт. Ноздри раздует.

– Матка! Щи крапивны?!

Арина Филипьевна обернётся. Вздрогнет спиной, а передом – грудью, руками – округлится ласково, послушно, губы изогнутся в лёгкой улыбке, будто бабочка на подбородок села.

– Душа, Власынька. А то ж.

Дом Власа Ковылина стоял в селе на улице, называемой Крестовоздвиженской. Шутил Влас Игнатьич: крест воздвигнем, вот как пить дать! и тута в землю лягем! и на сём месте потом, позжее нас, храм встанеть! Сельчане смеялись люто: как так, разве ж нам мало трёх храмов? три у нас целых, счастливо храмами село, а ты что, столб воротный, ещё храмину захотел? может, и старостой церковным метишь стать? так все местечки заняты! Голова моталась, серебрились волосья – Власову башку покрывала ранняя седина. Еще и детки невелики, а уж весь поседел. Арина воздыхала: ко старости годов, Власушко, будешь бел как лунь, сивый будешь, – Влас хохотал, зубами сверкал: сивый, да красивый! Обнимал Арину за плечо. Жили хорошо. Ночью обнимались всякий раз. Ссорились редко, и однажды только, в Великий пост, перед самою Пасхой, Арина осерчала на мужа – не так установил в кухнёшке бочонок с солёными груздями, и она пошла, коленом толкнула, бочонок перевернулся, все грибы скользко, весело Арине под лапти вывалились и расскользились по дожелта выскобленному ножами сосновому полу. Голос заклекотал в женской глотке, сорвалась Арина в крик, в хрип, не помня себя, взмахнула полотенцем и мужа полотенцем тем по лицу – как хлестнет! А ведь Великий пост. Грех тягчайший. Мужа родного! по лицу! полотенцем рассольным! Повалилась Арина на колени. Полотенце то Власу в руки суёт. «Хлещи меня теперь им, – кричит, задрав красное лицо, – хлещи! Хлещи больней! По роже моей бесстыжей! Заслужила!» Влас полотенце взял. Раскрутил растерянно, размахнулся. Хлесь! – да прямо по лицу Арине и попал, ткань мокрая больно щеку обвила. «Стой! – заполошно Арина кричит, – мы с тобой што енто в пост Великай творим, а?! Деремси, Власынька! деремси! так получацца!»

Бросил Влас полотенце то грешное об пол, ляпнулось оно на половицы мокро и тяжело. Встал рядышком с Ариной Филипьевной на колени, и так стоят оба – на коленях, как пред иконой святой. А глядят друг на друга. И слёзы в их стоят глазах. И лица их уж не лица, а лики. Слёзы из глаз вытекают и по щекам медленно плывут, крохотные золотые лодчонки по белому льдяному морю. Жар губ ожигает румянец. Шёпот вспыхивает и тает, а заново не искрится, а то всё вокруг, неровён час, займется, затлеет. Ты прости мене, Аринушка,

солнушко, прости, неловок я да глуп. Нет, енто ты мене прости, Власушко. А пуще всево давай попросим прощенья у Оспода Бога. Так просили прощенья оба и крестились: Влас – по-никониански, троеперстием, Арина Филипьевна – двуперстием, по-староверски. Староверы возненавидели Арину за то, что за никонианца пошла; ее родня отворачивалась от нее, когда на улице встречала или в поле на меже. Она Власа попросила, чтобы он в ее веру перекрестился, в старую; он согласился. Поехали на подводе в староверский храм, в село Ахмат, с подарками: мехами, отрезами, бутылками таманского кагора для Святого Причастия, грибными бочонками, – и так Влас Ковылин стал старовером. Арина Филипьевна торжествовала.

Детки рождались что ни год. Одно дитятко, второе, третье, четвёртое, пятое. Рождались, а иные и умирали. А потом наступила революция.

Революцья, как говорил Влас. Слишком длинное для него это заморское словцо было. Язык не справлялся.

Помнит первую сельскую сходку. Всё Караваево в огромный амбар семьи Лутовиновых набилось. Мужики поставили бочку, на бочку под мышки подняли малявку Спирьку, сынка Ковылиных. Кричали хрипло и весело:

– Говори, Спирька! Балакай!

– Гни речу в дугу! Калякай!

– Чево нам делать-ить, жигулёвцам!

Пятилетний Спирька выбрасывал вперёд малую ручонку, рукав шубёнки мерцал в грозной полутьме амбара, отороченный белым овечьим мехом – Арина сама все деткам шила, и теплое, и понёвы, и порты. Спирька, стоя на перевернутой днищем кверху бочке, вопил тоненько, будто голос поплавком мотался на рыболовной леске:

– Царя казнить! Ленин нонче царь! А всем пирогов напечи, к Рожеству!

– Прально калякашь, Спирька! – хрипели мужики, хохотали и вздёргивали в лунной полутьме мочальные бороды.

Влас Игнатьич не знал теперь, надо ли в церковь хаживать, и в какую: приняв староверское крещенье, он мог лишь в село Ахмат на службы наезжать, а это было далёконько и накладно, сколь овса коню надобно скормить в дороге, сколь с собою еды в куль сложить да сколь подарков в сундучок затолкать, для иерея; а тут революцья, глаза бы на ея срам не глядели. Влас мрачно говорил Арине, в пол зрачки уставив: «Кому таперя молицца? Ково славити? Какая разница, молюси я по древлей вере ай по новой вере? Они все сечас, красныя, противу Оспода воюють. И кому ж надобно примечати моё крестное знамение? Сколькимя пальцами я ево на сабе накладываю? А, Аринушка?» Арина Филипьевна дрожала губами. В глубине её речных, перламутровых радужек ходили сумасшедшие ночные тени. «Власушко, ересь глаголешь. Слухай, лучче песнь воспою». Глубоко, до дна груди, вдыхала воздух, будто последний. Голос лился, тихий, чуть хриплый, вроде малый и нежный голос, а упорно поднимался и до потолка заливал тёмную вечернюю избу. «И яко болящая приближаецца родити, и в болезни своей вопияше, тако быхом Возлюбленному Твоему. Страха ради Твоего, Осподи, во чреве прияхом и поболехом, и родихом дух спасения, егоже сотворихом на земли: не падём, но падут живущии на земли. Воскреснут мертвии, и востанут, иже во гробех, и возвеселяцца, иже на земли. Роса бо, яже от Тебе, исцеление им есть, земля же нечестивых падёт…» Арина перекрестилась двумя перстами. Посмотрела на мужа. Он сперва привычно сложил пальцы в щепоть, потом, глаз своих от глаз жены не отводя, заскользил большим пальцем по ладони и робко просунул его под безымянный. Арина вскинула голову. Парчовый платок был заколот у нее под подбородком крупной деревянной брошью с Кинельского рынка. Она опять запела. «Душа моя прегрешная, што не плачешьси? Ты плачь, душа, рыдай всегды, тем утешишьси. Не успеешь ты тогды плакати, когды приидет смерть, а по смерти грехи твоя обличать тебя. Скинь одёжу ты греховную в покаянии, а не скинешь ты грехи своя, тогды ада не минеши. Страдалицы венцы носять на главах своих,

оне песню поють архангельскую, аллилуия. Аллилуия, аллилуия, аллилуия-а-а-а!» – старательно, чисто пела она. Влас Игнатьич перекрестился двоеперстием. Арина Филипьевна утерла губы, будто поела сладкого, и вышептала мужу, нежнее, чем ночные, на подушке, тайные словеса: «Знаю, ходишь в ихний поганый храм!» Влас усмехнулся печально. «Хожу. Жизнюшки всем прошу. Жизни, Арина! а не смертушки! Времячко смерти настало дык. И когды изникнеть, нихто из нас не знаить. А Осподь – Он всюду живёть. И в том храме, и в сём. И не спорь». Жена и не спорила. Прикрыла вспухшими от слёз веками речные, прозрачные очи свои.

А потом в село пришли красные, а потом наново отбили его белые, а потом вдругорядь красные явились, и трупы сельчан еле успевали хоронить. Попа убили – повесили на колоколенке. Иконы и утварь церковную растащили по избам и сховали в подпольях. Арина Филипьевна икону Божьей Матери Хахульской спасла. Божья Мать на иконе тонкого письма была зело украшена, одета в оклад, как в медный хитон: кокошник округ лба весь унизанный радужными каменьями, и горят костром в ночи; сам лик тёмный, земли темнее. Будто изнутри земли на людей глядит. А белки громадных глаз тускло, синё светятся. И, если долго в лицо Ей глядеть, – будто бы вращаются, как крохотные луны в чернилах полночных. Будто бы глядит Она, очами вертит, за нами всеми, убийцами, наблюдает. «Да так оно и есть», – шептала Арина, крестясь и вытирая слёзы драным кошкою фартуком.

Божью Мать Хахульскую Арина Филипьевна снесла в погреб, предварительно обмотав кучею тряпок, ненадобной ветоши: слоями заматывала, снегами простыней да полотенец закутывала. От сырости. Чтобы плесень и тронуть не смела. Да разве тряпицей от гнили спасешься! Икона должна в красном углу сиять, а в подпол ее опустить – всё одно что похоронить. «Ничево, ничево, – шептали обветренные, искусанные губы, – кончуцца на нашей земле холода».

А – когда?

(рассказы Воблы о прежней жизни)

Зовут меня Вобла. Я очень худая. Я не помню, кто и когда меня так назвал. Может, в тюрьме еще когда сидела. А может, Влас Игнатьич. Точно не скажу. У меня, как у всех детей, были отец и мать. Мы жили в городе Горьком, на реке Волге. Я смутно помню большие каменные дома, и по улицам автомашины ездят. Мы жили в деревянном доме с эркером. Окна большие, как во дворце. Утром встанешь под гимн из радио, гимнастику отец делает, и я делаю вместе с ним, а в окне, внизу, город шумит, и так бодро на душе станет. Отец мой окончил в Ленинграде лесотехническую академию, и его направили в Горький, командовать лесным хозяйством области. Мы ездили по деревням и сёлам, и отец там налаживал лесные дела, потом опять возвращались в город. Потом вдруг ему приказали поехать под Москву, в село под Тарусу, там лесные дела наладить. Мы собрали чемоданы и поехали. Приехали, в избе нас поселили, ночь, спим спокойно. И вдруг стук. Перед избой машина. Отца в машину погрузили, мать бежала за машиной и очень плакала, громко, на все село. В темноте споткнулась на дороге об корень и упала. Я подбежала к ней, по голове глажу, а она все лицо в кровь о землю расшибла.

Мы вернулись в город, в нашу старую квартиру. А там уже живут другие жильцы. Они нас милости ради приютили. Однажды ночью по улице бежали люди с горящими факелами. Подожгли наш дом и еще другие деревянные дома. Огонь дома обнял и уже не выпустил. Мы еле успели выбежать. Успели надеть шубы, стояла зима. Удалось с собой только прихватить учебник русского языка и зачем-то – мешочек с начатым вязаньем и клубком, и две спицы в клубок воткнуты. Ни еды, ни документов, ничего. На ногах осенние боты. На улице мороз минус двадцать. Вышла соседка, из жалости кинула мне и матери валенки и старые, наверное, собачьи шапки, шерсть из них вся вылезла и моль их съела. Мы в валенки влезли, плачем. Валенки мне велики. Мать плачет и губы кусает: ничего, стаскаешь! Так с тех пор я и ходила в них. И в Сибири ходила. И везде. Нога-то выросла. И впору стали.

Пошли по городу. Побирались. Пришли на Мытный рынок. А там соленая капуста в бочках! У меня слюнки потекли. Я к бочкам подошла, гляжу. Как торговка из бочки половник деревянный вынимает, капусту пробует, жмурится от удовольствия и народу предлагает: попробуйте, мол, с хренком, с яблочком! Глаза мои тётка увидала. И сама глаз не отводит. Пальцем, красным на морозе, меня поманила. Иди, говорит, сюда! Вот тебе, на, жуй! И протягивает мне расписной половник с горкой капусты. Я капусту хвать! Все лицо в нее опустила и жадно ем. А торговка на меня смотрит, и у неё слёзы на морозе текут. Где, говорит, твоя мамка? Или ты сирота? Я головой трясу: нет, не сирота, вон моя мамка! А мать сидит у входа на рынок, шапку сняла и на асфальт положила, подайте, мол, кто сколько может. Торговка мне: зови сюда мамку! Я со всех ног побежала к матери. Тащу ее за руку: идём, идём, там тётя хорошая, тётя! Подходим обе, а торговка лицо красное утирает и нам говорит: поедемте ко мне, бабоньки, у нас в избе места много, у меня кормильца невесть куда увели, а детишки помёрли, одна я, я вас привечу. Когда она всю капусту распродала и деньги сосчитала, и за лифчик сунула, мы к ней поехали. На телеге. За ней приехал мрачный старый дядька с очень тёмным, как у негра, лицом, погрузил в телегу пустые бочки и нас, коник потрюхал, и мы потряслись.

Приехали мы к той торговке. Ее звали тётка Лиза. Деревенька ее стояла на высоком бугре над Волгой, и называлась, я помню, Великий Враг. Там ещё такая церковка деревянная стояла, выкрашенная синей краской. В солнечный зимний день небо синее, и церковь синяя. А снег белый, и глазам больно, глядеть нельзя. Я на рынок с тёткой Лизой ездила, помогала ей капусту продавать. Дядька с чёрным лицом был её родня, не помню уже кто. У него почки болели. От этого рожа потемнела. Тётка Лиза платила ему за подвоз в город

молоком, она держала козу. Козье молоко плохо пахло, по сравнению с коровьим. Зато мы с матерью каждый день пили молоко. И щёки у нас порозовели. Я смотрелась в зеркало. Зеркало висело на гвозде прямо на печке. На ночь тётка Лиза поворачивала его зеркалом к печке, амальгамой вверх.

Она про зеркало говорила мне шёпотом: много не глядись в него, а когда надо, занавеской занавесь. Это не ты в зеркало смотришь, это оно на тебя смотрит! Я думала: ну и дура тётка Лиза, невесть что болтает.

И день солнечный, ясный, зимний хорошо помню. Подъехала к Лизиной избе грузовая машина. Из кузова на снег выпрыгнул милиционер, я в окно видела, и застучал в дверь ногой. Я открыла. Милиционер вошёл, поглядел на меня, на мать, она сидела на лавке, и заорал: собирайтесь живо! Тётка Лиза пошла в это время на другой конец села, занимать у подруги подойник, ее продырявился, и мы не смогли попрощаться.

Нас привезли в Горький, подвезли к большому дому, он был вроде как слепой, с маленькими окошками. Это была тюрьма. Нас долго вели по лестницам, потом втолкнули в камеру. Я поразилась, сколько в камере народу. Сидеть было невозможно, все стояли. Нам с матерью досталось место под нарами, на полу. Первую ночь мы не могли уснуть. Пол холодный, каменные плиты. А сверху, с нар, на нас падают клопы и вши. Мы чесались и плакали! С лязгом открывалась дверь, и охранник вносил в камеру бочку, куда можно справить нужду. Так я впервые увидела и унюхала парашу. Если бы вас поместить хоть на одну ночь рядом с такой парашей! Я бы на вас утром посмотрела. А мы ничего, вставали по команде, спрыгивали люди с нар, из-под нар выползали и послушно называли свои имена, когда тюремщик, стоя в раскрытой двери, нас всех выкликал. Открытая эта дверь была спасением: оттуда в битком набитую камеру шёл воздух. Все жадно вдыхали его.

Днем разрешали сходить в тюремный туалет. Я пошла. Дверь открываю, а это и не туалет вовсе. А комната, вроде как прихожая, и в ней штабелями лежат мёртвые люди. Запах такой тяжкий от них. Я метнулась назад. Дверь закрыла, стою у двери и дрожу. А тут милиционер по коридору идёт. Что, спрашивает, ревёшь? Я ничего не могу сказать, только рукой на дверь показываю. А, кивает, ясное дело! Наплюй! Ты на них не гляди, они отжили своё! А в туалет дальше дверь, синяя такая! И я опять переступила порог. Дверь в туалет и правда была синяя. Как та дощатая церковка в Великом Враге.

Через месяц жизни в тюрьме нас всех гуртом, как овец, повели в баню. Мы сначала бежали в беспорядке, стадом. Милиционеры этого не потерпели. Выстроили всех в колонну, по бокам встали охранники с винтовками и злыми собаками. Собаки, это были немецкие овчарки, на нас истошно лаяли. Я прижималась к матери. Женщины косились на нас: счастливые, вдвоём взяли, мать и дочь, не разлучили. В камере ещё были семейные. Были даже матери с младенцами на руках. Мы идём по городу в баню, а прохожие останавливаются и жалостливо глядят на нас. У них в глазах мы читали только один вопрос: скажите, люди, разве вы преступники? Разве преступница вот эта молодая мать с ребёнком, а волосы у ней все уже седые? Привели в баню. Каждому выделили шкафчик и от него дали номерок и ключ. Когда мы оказались в помывочном зале, мы чуть с ума не сошли от радости. В парилку набились все, как в камеру. Один веник взяли на всех. Мать моя поддавала, набирала воды в черпак и плескала в печь, на раскалённые камни. Пар валил и обжигал. Мы кричали и даже рычали, как звери. Пить очень хотелось, нам мало воды давали, так мы наливали в тазы воду, наклонялись, и правда как звери, и пили, лакали из тазов взахлеб. Одежду грязную после бани противно надевать. Но мы все грязь нашу опять надели. И пошли обратно в тюрьму, розовые, распаренные.

А потом опять душная камера. И мы стоим, и кто-то из нас поджимает ноги, чтобы чужие тела его хоть немного на весу подержали. Ноги затекали, опухали, было чувство, что сейчас отвалятся. Потом наступало время, когда мы ног не чувствовали. Каждый день кто-то

из нас умирал. Его оттаскивали в ту подсобку, перед синим туалетом. Там всё одна женщина истошно кричала, повторяла бесконечно: я Саша! Саша! я Саша, запомните, Саша! Саша-то Саша, а мать мою однажды выкликнули, она протолкнулась к двери, вывалилась из камеры, и больше я её не видела никогда. Настал день, когда дверь отворилась и голос прокричал ряд фамилий: стройся, с вещами! Нас погрузили в крытые холстиной фуры и повезли. Мы не знали, куда нас везли. Сошли с фур, а это вокзал, железная дорога. Повели к товарному поезду. Вагоны деревянные, телятники, в вагонах нары. На нары милиционеры приказали сесть женщинам с детьми и старикам. Чужая тётенька взяла меня на руки и притворилась, что я маленький ребёнок, я ведь была маленькая и тощая, и вот так нам досталось место на верхней полке, она соединяла боковые стенки вагона. На полке уже сидела куча народу. Спать было можно только на одном боку. На другой все поворачивались по команде: вертайся! Умывальник один на весь вагон. Туалет тоже, дырка за шторкой. На завтрак – кусочек чёрного хлеба и кипяток, на обед – половник жиденькой овсянки или перловки. Вши и клопы нас сопровождали. Это была настоящая мука. Просто страшное страдание. Мы расчёсывали тело в кровь. Головы у многих были наголо стриженные, и ногтями мы сковыривали кровавые струпья, и кровь опять текла, по нашим лицам, за ушами. Из Горького мы доехали в телятнике до Куйбышева. Там нас сгрузили на перрон и пересадили на другой товарняк. Сказали, он пойдет в Сибирь.

До Сибири мы ехали два месяца. Из вагона то и дело выносили мертвецов. Я приметила ещё там, в вагоне, Власа Игнатьича. У него во тьме серебряная борода, голова серебряная и усы будто светились. И глаза в темноте светились, и белки и зрачки. Он мне сразу понравился. Даже не знаю, почему. Но я в вагоне к нему не подходила. Стеснялась. Ну что я сунусь? О чём попрошу? Чтобы только поговорить? Нам никому говорить не хотелось. Ехали молча. И только плакали. Выгрузили нас на станции Юрга, на баржу посадили, баржа плыла-плыла и до нового берега доплыла. Я всё на Власа Игнатьича смотрела. А он на меня хоть бы глянул тогда.

Бросили нас в чистом поле. Если бы не Влас, мы бы там все погибли. Он велел нам ямы рыть. Землица, говорит, нас всех спасеть. Говор у него был такой странный, смешной. И говор его мне понравился. Снегу ещё мало было, ещё не нападал, рыть было не так трудно, мороз ещё землю не схватил. Сначала вырыли землянки, потом построили первый барак. Летом обнаружилось, что Сибирь может нас хорошо прокормить. Грибы, ягоды, черемша, шиповник, боярышник, орехи, травы – всё шло в пищу, и всё было очень вкусным. Летом все мы просто ожили. Первые наши печи тоже топились в земле. Потом, в бараке, сложили глиняную печь. Опять Влас Игнатьич складывал, а люди ему помогали. Он у нас стал вроде вождя. Ну кто-то же должен быть в жизни вождем. Без вождя люди помрут, как стадо баранов без вожака. У гусей и то есть вожак, у журавлей. Мы, чтобы печь топить и костры жечь, рубили в ближнем лесу вековые сосны с красной корой, в три обхвата. Дров этих сосновых хватало надолго. Воду грели, от грязи отмывались. По лету даже купались в Томи. Донага раздевались, и нырк! Если баб и девчонок подсматривали парни, мы визжали так пронзительно, что уши закладывало.

Постепенно наше поселенье разрасталось. Уже возводили не только многолюдные бараки, но и отдельные избы. В деревне Зыряново взяли телят, они выросли в коров и быков. Я, городская, освоила многие крестьянские работы. Умела доить корову, косить, грести траву граблями, жать рожь, пшеницу и овес, вязать снопы, пилить бревна, колоть дрова, прясть овечью и козью шерсть, вязать чулки, носки и варежки, да что там, всё на свете вязать, вплоть до свитеров и юбок, запрягать и распрягать лошадь, и даже могла ездить на лошади верхом, без седла.

Наша Сибирь! Сначала плакали, а потом так привыкли и прилепились к ней, не отлепишь. Конечно, летом тучами гнус летал. Комары и мошка, оводы, слепни. Особенно сильно

кусали, когда разденешься на берегу, в реке искупаться. Крутишь в воздухе платье, рубаху, отмахиваешься как можешь! А они налетают. Зверя всякого в тайге видимо-невидимо. Белок мы с рук корочкой кормили, непуганых. Зимой однажды нарвались мы на волков. Мы с мальчишками ездили на лошадёнке, в малой кошёвке, к зароду, взять сена для скотины. И тут три волка, целых три. Они широкими прыжками мчались к повозке и уже нас догоняли. Мальчишки не растерялись. Зажгли в кошёвке пук сена. Сено горит, уже смеркается, мчимся в синей тьме, парнишка наш, возница, Филька Зуев, нахлёстывает лошадёнку нещадно, а волки по снегу за нами. Вытянулись в струнку, длинные такие, и тени от них длинные мчатся по сугробам. Огонь их пугал, глаза у них красным ужасом светились, они жадно на нас глядели и всё равно за нами бежали. Как только они приближались, мы начинали ужасно вопить! Они останавливались, потом опять мчались. Лошадёнка едва не свалилась в снег, так тяжело дышала. Гнала что есть мочи. В посёлок наш мы вернулись охрипшие. Безголосые. Все голоса на волков выкричали. Пока мы ехали, кошёвка наша почти целиком сгорела, остался только передок, там, где облучок, и жалкий пучок сена. Вот так съездили за сеном, вот так людям помогли.

А потом я насмелилась и всё-таки подкатилась к Власу Игнатьичу. Тишком, тишком, где на колесах, где пешком! Он ко мне долго привыкал. Может, я ему казалась уродиной. Или просто даже маленькой. Может, думал: что с малышнёй возиться. Росту я маленького. Плоская, как доска. Вобла и Вобла. Я липну к нему, а он меня не отталкивает. Хотя лицо так иной раз сморщит, что понимаешь его без слов: отлепись, девчонка, муха благая! Но я не отлеплялась. Тот, кто выше и больше нас, мне не велел это делать. Зимние вечера долгие. У печки, у огня, он рассказывал мне о своей прежней жизни. И я слушала. И все запоминала. Огонь по его лицу гуляет, из серебряных усов речь льется, а я у ног его на маленькой скамеечке сижу, а он на табурете большом, крепком, сам же себе его и сработал из необхватной сосны.

Село их родное зовётся Караваево, оно на Волге, в Жигулях. Влас Игнатьич из зажиточных крестьян. Проще, из кулаков. Таких кулаков у них в Караваеве было почти всё село. Значит, богатое было село. Влас плечами пожимает: да нетути, не богато никако, абнокавенно, у всех хозяйство своё, у всех лошадушки и коровушки, козушки и овечки, и сады, и огороды, у ково мельничошки, у ково маслобойки! Революция нагрянула. Жену Власа Игнатьича застрелили. Дочь и сын у него были. Дочь, Сусанна, в гражданскую войну сгинула неизвестно куда. Влас думал, погибла, вздыхал; жаль, говорит, не ведаю, игде иё могилочка. Сынок его Спиридон с ним в селе жил, хозяйство вести помогал. Да приехала к ним в село из Оренбурга башкирочка одна. И они оба, и Влас и Спиридон, в нее влюбились. Влас Игнатьич об этом рассказывал спокойно и просто. Зачем он мне-то об этом говорил? Чтобы я о нем всё знала, всю подноготную? Думаю так: он просто скучал по ней. По Земфире этой. Он мне даже сказал, тихо так, что, когда его на поселенье забирали, она, бабёнка эта, осталась брюхатая. И неизвестно, от кого ребенок, от Власа или от Спиридона. Я робко голос подала: баба сама должна знать, от кого и когда зачала! А Влас вздохнул, руки на коленях сцепил. Сделался мрачный, как волк. И глаза так же красным загорелись, как у волка. Да нет, говорит, спуталаси она с нами обоеми, да и запуталаси вконец; то один иё рветь на сабе, то другой; рази ж тута можна што заприметити? Ничево тут не приметишь! А я, уезжаючи, в кузове трясяси, всё кричу ей, воплю: Зёма, роди! Зёма, роди! Я молчу. Слушаю. И больно мне. Звал ее Зёмой, ну, от Земфиры сокращённо. А меня только Воблой, и больше никак.

Спрашиваю: а какого беса она, эта твоя Земфира, с Урала на Волгу подалась, в Жигули? Сбежала, что ли, от кого? Может, она вообще преступница, и удирала от наказанья? Он смеётся. Нет, говорит, не уголовница она никакая. Баба и баба. Тольки, знашь, оченно красива! Така уж красава, што ни в сказке сказати, ни пером описати! А при себе у тебя, Влас Игнатьич, спрашиваю его, снимочка ее нету? поглядеть бы хоть одним глазком на такую принцессу! Нетути, разводит руками, чево нету, тово нету, не снимамся мы на селе на снимки,

хотя у ково и висять по стенам в избе, да у мене ничево не висело! Староверы мы, нельзя нам сымацца на снимки, Бог не велить! Ага, Бог не велит, согласилась я и наклонила голову. А сама перед собою так её вижу: волосы чёрные, густые, глаза раскосые, как у зверицы, подо лбом черно горят, губы алые, щёчки смуглые. У нас в камере в тюрьме была одна башкирка, а может, татарка, не знаю, красивая, смуглая и черноглазая, Халима Хайруллина. Она умерла, задохнулась в нашей ночной давке, и её тело оттащили в подсобку и положили поверх других трупов. А эта Земфира была живая, и жила в селе на Волге, и давно уж родила этого не знай от кого несуразного ребёнка. Сижу, на огонь в печи смотрю и думаю: как это баба то с одним, то с другим в постель ложится? Влас мысли мои словно услышал. Што, говорит, думашь, как енто худо, с двума мужикама любицца? А вот так у нас случилоси. Ничево таперя не поделати.

И руку мне на голову кладёт. Тогда, у печки, в первый раз меня приласкал.

Я расспрашивала его о его родных, о тех, кто погиб или сгинул бесследно. Жену, Арину Филипьевну, он взял из староверской семьи. И она его в свою веру крестила. Он не видел, как её убивали. Не на его глазах погибла. Застрелили в родном доме, так её в доме потом и нашли, на полу валялась. Голова пулей раздроблена, и в грудь для верности выстрелили. И по белой рубахе у неё расползлось огромное красное пятно. Влас Игнатьич это мне говорит, крепко жмурится, а из-под прижмурённых век у него слёзы текут. Вот мёртвенькую, говорит, я видал. И на руки взял, и так уж цаловал! Оживлял… Да рази ж, говорит, покойницу оживиши… Спирька, говорит, на печке спрятался от катов, под тулуп залез и притаился, и так жить остался. А сестрёночка ево Санька, дочка моя, исчезла; сгинула девка, должно, прибили, как кощёнку, да скинули с обрыва. Сынок его Спиридон работящий, справный парень. Несмотря на то, что сын его с его этой Земфирой снюхался, Влас Игнатьич о нём худого словца не сказал. Наоборот, жалел. Но это здесь жалел, в Сибири. Издалека. А там, видно, они из-за этой красавицы схватывались крепко. Отец сына если побьёт, так это по закону. А если сын отца? Яйца курицу не учат, сын на отца руку поднять не смеет. Я думала: а если Спиридон этот Власа Игнатьича хоть однажды, да побил? Гляжу на Власа: да нет, такой крепкий дуб себя в обиду не даст! А где сейчас твой Спиридон, Власа Игнатьича спрашиваю. А, ево тожа забрали, машет Влас рукой, в один Божий денёк нас заграбастали: мене в одну сторонку, ево в другу ухватили. Развезли нас по землице чёрны грузовики! Повезли людску скотинку… на смерть ли, на убой… знай выживай…

Закрывала я глаза и представляла себе это их Караваево. Всё же на нашей Волге ихнее село стоит, на моей родной реке. Город Горький на горах. И у них горы. Жигули. А девчоночки с гор бежали, ах Жигули вы, Жигули! А на них были чёрны шали, ах, до чево ж вы довели! А ленты-бантики, а ленты-бантики, а ленты в узел вяжуцца… А мой милёнок синеглазай передо мной куражицца! Так пел Влас мне жигулёвские частушки. А глаза у Власа Игнатьича и правда синие-синие. Как Волга в солнечный день. Вот такого цвета Волга, когда на откос выйдешь, а всё небо в реке отражается, со всеми облаками.

А Влас мне потом все-таки сказал, как эта Земфира окаянная в Караваево попала. У нее родители умерли, оба сразу, когда ей было пять лет. И она попала сперва в детприемник, потом в Уфимский детский дом. Потом детдом этот расформировали, и всех детей отправили в городок Белебей. В том Белебее Земфиру усыновил один добрый человек. Он оказался вовсе не добрым, однажды ночью подлез к девчонке, она в ужасе убежала; прибежала на станцию железной дороги, зайцем доехала в общем вагоне до Оренбурга, проводница над ней сжалилась и довезла. В Оренбурге устроилась в хлебный магазин, продавщицей. Жила при магазине, в каморке. Власти ругали за это директрису магазина, да никто Земфиру и пальцем не тронул: у директрисы в ящике стола лежал пистолет, она в Красной Армии в гражданскую сражалась, бой-баба. И опять все эту Земфиру жалели, что ж в ней такого? На жалость била? Ну да, мордочка умильная, красивенькая, люди на красоту клюют, как

на сахар. Ей выдали паспорт, когда стукнуло шестнадцать. Тут к ней приехала из башкирской деревни ее родная бабка, явилась не запылилась, нашла Земфиру через адресный стол. Привезла ей в подарок старую родовую одёжку нарядную, всякие там блестящие мониста, чекмень, серебром расшитый, и музыкальный инструмент, я забыла, как называется, чудно как-то. Ну вроде нашей балалайки. Бабка эта немного с ней пожила и всё ей про Аллаха рассказала, и в мечеть ее свела, и в Аллаха крестила. Ну, не крестила, я не знаю как сказать. Посвятила Аллаху этому, что ли. И опять к себе в деревню укатила. Наступил голод, в магазин перестали привозить хлеб, и магазин закрылся. Люди посоветовали ей: езжай в село, деревня тебя прокормит, там будешь с молочком, с маслом. Она пошла на вокзал, наудачу взяла билет до станции Кинель. Оттуда автобусом добралась до Караваева. Пошла по селу, вышла на берег Волги. Ширь, воля! Красота! Понравилось ей там. И осталась. В сельсовете решили в избу к старой бабке заселить: ухаживай! Бабка померла, Земфира хозяйкой в избе стала. Живи не хочу!

Влас голову низко опускал. Это всё она тебе рассказала, спрашивала я тихо, печной огонь кидал жёлтые и красные отсветы на срубовые стены. Да, Воблёшка, енто всё она мене и поведала, а когды балакала, без удержу плакала, отвечал мне Влас и еще ниже голову опускал. И прятал от меня небесные свои глаза. Потому что они у него были полны слёз. А он при мне, девчонке жалкой, приблудной, плакать не хотел.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Ах вот веть! Ночю лезут вголову всякие мысли. Сними очен трудно справитса. Мысли ето такие мыши. Они ползают в тебе ищут гдебы тебя угрызть. Зубками оттебя по вкуснее кусочик оттяпыть. Зачем человек думает? А еще изаписывыет сваи мысли. Я записывыю не мысли. Я просто собираю мышей вкоробку они там бегают подну коробки на волю хотят ая их кормлю. Их надо хорошо кормить ато они на всегда убегут. Ну и пустьбы лучше убежали. Башка без мыслей во как здорово. У меня втюрьме веть ни какой тетрадки небыло что бы мысли записать. Они у меня вголове бегали мышами. Имне голову прогрызли. Я ети дырочки вголове волосами закрываю. Заплетаю косы корзиночкой под корзиночкой дырки невидно. Иногда вдырки ети влетает холод и ветер. Тогда мне больна ия плачу. Ялюблю тепло и что бы печка горячая.

(церковная фреска, во сне увиденная тов. З. Зариповой)

Вышла фигура из сгущенья синей тьмы, да так и застыла. Потом руку выгнула, грудь выпятила да другую руку во тьму протянула. Из тьмы высунулась чужая рука и крепко ту протянутую руку ухватила. С первой фигуры ткань складками донизу свисала; и грудь поднималась, и видно было, это женщина. Лица, жаль, не видать. Лицо в синей тени. Синяя тень стала красной, и вышло на красный свет лицо женское, деревенское – скулы слишком широки, губы кровью здоровой полны, брови вздымаются как волны. Свет алый всё лицо залил. Женщина, живая. За руку из тьмы тащила, вытаскивала другую фигуру, чуть пониже ростом, чуть пошире в плечах да потощей в тальи. Сумерки обеих заволокли. В чёрном вторая была. Голова и плечи чёрным, угольным платом укутаны. То ли монашка, а то ли мусульманка. Древние одежды у всех нас похожи. Медленно шла первая женщина, ведя за руку другую; и та, другая, чёрная монашка, во мрак руку тянула.

На зов молчаливый медленно вышел из темноты третий. Высоченный: на размах плечей, как на великанскую слегу, можно сперва матицу, а потом опалубки, а потом крышу положить. Волосы, стриженные под горшок, тихо серебрятся во мраке.

Ступал широко. Наступал тяжело. Онучи белые, лапти туго плетённые. Армяк расстёгнут, под ним рубаха с вырезом, на снурок около горла завязана, и красным крестом вышивка, оторочка по вороту. Пояс крепок под рёбрами. Штаны навыпуск, нависли над чищенными пуще чёрного зеркала сапогами. Бравость, бодрость так и прёт из седого мужика, холодок силы. Волос седой, а лицо молодое да смуглое. Чуть косо глаза стоят, все видят; уши, как у рыси, все слышат. Да не услышишь! Да не увидишь, как близко подойдут, напрыгнут, руки свяжут!

А кто свяжет?

Всё завтра; лишь завтра, не сегодня.

Мужик, серебряный волос, за руку держал еще фигуру. Девочку. А девочка вела за рог корову. Молодую коровенку, телицу; тёлочка тянула к девочке морду, пыталась взмукнуть. Да будто кто на глотку наступил ей сапогом. Вместо голоса наружу хрип выскальзывает между желтых, крупных коровьих зубов. Жалко! На что жалуешься, тёлочка справная? На травку сухую да квёлую, гиблую, молока мало? На вымечко своё, с вечера недоенное? На время? Люди не такие тебе стали, а? Хуже зверей? Тебе их жалко?

Выходили из мрака. Искала руку рука. Хваталась. Вот вышел парень; ростом удался, ликом румян, все ясно да приглядно в нём. Любуйся не налюбуешься. Парень вслепую руку хоть чью-нибудь искал; искал-искал, не глядя, шарил-шарил крючьями пальцев во тьме, да так и нашарил дрожащую тонкую руку монашки. Чёрные мягкие одежды раздувал низовой ветер. Забирался под юбку, ее колоколом вздувал. Чёрною тучей медленно шла монахиня, перед нею раздвигались тугие ветра, она наступала ногой на невидимую землю, а земля тут же превращалась в прозрачное облако, и в облаке нога тонула, и монашка улыбалась. Зубы её ровные, один к одному, чистые, перлы речные. Парень крепко её руку сжимал. Над головой парня летела птица о шести крыльях, с человечьим лицом. Крылья красны, лицо золотое, и плачет. Вокруг лица чёрный круг с золотым ободом. Тьма живая, золото надмирное. Золотое небо, это чтобы люди поняли – весь Космос вокруг них царственный, облачён в парчу и виссон, а они сами в рубище жили и в рубище помрут, но это не страшно. Страха нет. Ужаса нет. Страх и ужас остались далеко, на дне Ада.

Фигуры все вступали во свет из мрака, одна за другой. Мужики, бабы. Крестьяне. Только в царских одеяниях: поверх крестьянских лаптей – царские горностаи, поверх босых стоп – иерейские ризы. Расцветали лики, головы – и в платах, и в картузах, и в повойни-

ках, и простоволосые – внутри громадных алых, ясно-зеленых, густо-синих тканей, ветрами падающих с выгнутых куполом небес. Синий свет шёл волной из-под ног идущих, а они всё шли. И все держались за руки.

Фигура одна, фигура другая. Медленный ход.

Тихо, медленно, так, чтобы ты мог их рассмотреть. И, может, успеть полюбить.

И сейчас они пройдут, и ты с ними навек простишься.

Так успей! Успей охватить их взором, каждого погладить, поцеловать глазами. Это же так просто.

Идут, и чудится, вот-вот запоют. Да сжаты рты. Музыка их – внутри них. Молчат. Смотрят на нас. Широко открыты глаза. У кого сияют. У кого мрачные. У кого слёзы золотыми каплями ползут по щекам. Черты строгих лиц смутно видны в наползающей тьме. Тьма со светом борется, и неведомо, кто кого поборет. Это неведомо никогда; все надеются на свет, но, может, тьма и есть свет. Говорит же нам из мрака времён мудрый человек Дионисий Ареопагит: свет, в духе созерцая, человек видит как тьму. Значит, тьма – не тьма, а мы так-то и свет можем видеть. Земными, зряшными очами. Горние очи нам под лоб ещё когда воткнут. А может, и не воткнут вовсе; а может, и не всем. А лишь тем, кто сподобится. Кто – праведно жизнь проживет.

Богомазы так и малевали горний свет: когда чистой простой позолотой обходились, а когда вокруг блаженных чёрную, непроглядную мандорлу живописали. Спросите, что оно такое мандорла? А это кокон такой невидимый, оболочка небесная, вокруг каждого человека она; это Дух из человека облаком выходит и всего его, живого, живущего, кругом обнимает. Почему вокруг святых мандорла чёрная? Разве не дьяволов чёрный цвет?

А почему ж тогда и монахи, и монахини, и иерей в пост в чёрное облекаются? Неспроста. Чёрный цвет, тайна, непостижная глубина ночного неба с россыпями звёзд. Прав стародавний святой мудрец Дионисий Ареопагит. Всё свято, да только не всю святость мы изъяснить можем. Так и стоим, молчим.

И они молчат. Фигуры торжественные: движутся, медленно поворачиваются, прижимают пальцы к губам.

Идут. Молчат. Тканей струи с плеч текут. Вот застыли. Слушают. Что? Звуки мира?

И что видят, ведь они уже не по земле, по облакам ступают?

Девочка, что вела за рог корову, разжала руку и выпустила рог. Корова побежала, потом упала. Может, ее застрелили. Или жизнь её коровья сама закончилась. Девочка обтёрла ладонь о юбку, быстро присела и подняла с земли саблю. Голая, без ножен, сталь сверкнула. Девочка крепко держала саблю в руке, поднятой над головой. Глаза её искали вокруг. Кого рубить? Кого убить? А может, пощадить?

Чёрные облака. Снеговые тучи. Нет, это земная дорога; чёрная влажная земля, тёплая, как бабья грудь, разымчивая, весенняя. Раз в году такой земля бывает. И человек раз в году по такой босыми ногами ступает. А может, и раз в жизни.

Дороже сердцу то, что только раз приходит, и больше не будет такого.

Когда сердце внутри человека понимает: вот это, это было с тобой в последний раз, – исходит сердце на слёзы, течёт горячим воском.

Ещё фигура из тёмного тумана выскользнула. Фигурка. Малявочка, деточка. Хрупкая, ледащенькая, будто век не кормленая, сиротиночка, рыбка малая, что на мелководье водится. Снует под воздухом, в ночной ли, предутренней тьме, как под водой, глазки темно горят, а потом золотом вспыхивают. Ладошку – сушеной таранью тянет. И над её головёнкой, над косками её тощими, вместо лент грубые верёвки, – рыбы плывут: сначала тучи тёмных рыб-брёвен проходят, огромных, важных, потом стайки весёлые мечутся, потом словно брызги цветные прыснут: мальки в просвеченной солнцем воде играют. И она сама с рыбами взахлёб играет, малёк. А потом личико её, тонкого письма, не красивое, скорее уродливое, стано-

вится скорбным и взрослым. И издали глядит она на серебряного мужика, неотрывно глядит на его серебряные усы, серебряную бороду, поросшие седыми волосами огромные, тяжёлые руки. Глядит глазами, полными любви. А подойти и за руку взять – робеет. За руку держит она плачущую бабу в мощном, груботканом, изгвазданном в грязи платке с кистями. Кисти стекают с плеч. Плачет баба, о чем? О том ли, что вот из метельного далёка, из-за вечной решётки вернётся в сельцо, а дома нету, в войну сгорел, и на чёрном поле ходят и червей, жуков клюют тоскливые грачи, и лишь обгорелая печь одна торчит посреди пепелища?

Фигурка бедная, не плачь. Взглядом лица чужого не ищи. Утешься: ты родная ему. Да на небесах он к тебе не подойдёт. Он подойдёт к тебе на земле. И обнимешь его. И ляжешь, лёгкая, легче щепочки, ему на тяжёлую грудь, слышишь, тяжко, хрипло дышит она под пропотелой рубахой. Фигуры это люди; они ещё не насельники Божьего Сада. Они ещё здесь идут и молчат: по черноте, по теплу, по морозу грядущему. Путь ещё надо пройти.

Куда они все идут?

Они идут к маленькой фигурке запелёнутого человечка, это младенчик, он, в сияющих, туго стянутых пеленах, лежит на дышащей, шевелящейся живой черноте. Босые фигуры медленно подходят к младенцу. Синий плащ струится с полных гордых плеч идущей первой, перед всеми, бабы. Пышногрудая, с яркими очами, она встала рядом с ребёночком в пелёнках, застыла. Кругом выстраивались люди. Подходили и подходили. Вот фигуры все столпились, склонились над младенцем. Глядели молча, строго. Фигурка на грязной земле в золотых пеленах изгибалась, извивалась, обвернутая золотом туго, плотными витками, и червячка золотого напоминал маленький человек. Никто не наклонялся, не брал его на руки. Словно бы опасались взять.

На колени встала только монашка. Ветер крутил за ее спиной чёрный апостольник. Она вытянула вперёд руки. Очень осторожно отвернула один светящийся пласт пелён. Потом другой. Потом третий. Потом раскутала младенчика всего. Вот сейчас радостно засучит освобожденными ножонками. Свободен! И тюрьмы нет! И золотых оков! И нет ничего, только воздух весенний, и тепло земли, снизу идет, спинку малую греет! Зёрнышко… Оручее, живое, – рот разевает, красный язык, будто свечной язычок, во тьме дрожит…

Склонись! Обними. Не бойся. Ты ведь мать. Ты? Вот сейчас! Свобода! Она!

…не сучил радостно ножонками. Кто лежал перед нею? Червяк уродливый. Без рук, без ног. Брёвнышком сирым лежал. Только рот раскрывал, а крика не было, – а может, он кричал, да мать, в чёрном, не слыхала, как кричит на земле рождённый ею.

На муки! На ужас!

…стой. Не скаль зубы в вопле страшном. На яркое солнце, на золотой горний свет родился. На боль, что сам будет в радость обращать. На прозрение.

На пророчество.

Пророка родила.

Или – пророчицу?

Зажмурилась крепко, больно, чтобы не видеть, кто же там ею рожден. Больно глядеть. Нельзя. Грешно. И так уж довольно разглядела.

Мальчик или девочка?

Прикрыла глаза рукой. Да какая разница, – несчастный, несчастная.

А фигуры медленно расступились, и пели птицы, земля под босыми золотыми ногами медленно ворочалась чёрным медведем, медленно, ровно дышала, хныкал младенец, поливаемый солнцем, розовело под нежными лучами его страшное тельце. Жизнь была именно такой, и больше никакой, и кресты тепло прижимались у всех под рубахами и кофтами, под яркими гиматиями к голому телу, и это главной радостью было – ведь с ними, с ними всех в землю положат. А пока – лежи на земле, рождённый.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ХЛЕБ СО СЛЕЗАМИ

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Мне Влас Игнативич часта говорит освоей родне. Он всегда плачит когда оних говорит. Апосле етих рассказав я впостель ложус а ета родня комне приходет ия ихние голоса всех слышу. Слышу с мутно и немогу точно повторить что они говорят. Мне удетей Влас Игнативича очен имена нравятса: Сусана, Сперидон. Звучные будьто звонар вколокол бьёт. Совсех церьквей колокола по снимали. Сечас новая епоха идёт. Вбудущем никакого бога небудет вопще и помину онём небудет.

(Дочушка. Голос Сусанны)

Крестовоздвиженская улица наша была. Крест нам тут и воздвигли, прав батюшко был.

Дом наш устроением был таков: с каменным низом, с древняным верхом, так по Волге строят. Село большое, но и изба наша, плотного сруба да тяжёла на вид, просторна, силой строенья отличалась от многих, бедняцких. По новой красной власти мы вышли всё одно кулаки. Кулаки, это сильно, когда обе руки в кулаки зажмёшь! Я вытягивала руки перед собой и кулаки сжимала. Когда меня дядьки из Вэчека на казнь вели. С казни я спаслась, сразу скажу. Но я не про казнь, а про нас сперва, живое – живого просит. Матка наша Арина, батюшко Власий, братиков моих родилось трое, один выжил да вырос, двое болезнями померли, и сеструшка ещё была, младшенькая, я её сильно любила, назвали Зиной, утонула в Волге она, с большими соседскими девками на пески купаться увязалась. В воду вошла, дурёшка, смеялась, плавать не умела, теченьем понесло, ножонками дрыгает, платьице шаром раздуло, а пароход прошёл, прибойной волной ее накрыло. Отпевали в церкви – матка без разума у гробика валялась. А иконы глядят так молча, строго. Святые ить тоже разные: кто сердит, кто добр, всмотритеся в их лица, а тёмные какие! Тёмные – потому что изрядно страдали. Матка моя не раз мне калякала: вот вырастешь большенькая, выйдешь замуж, муж будет тебя бить, а ты будешь терпеть. А потом будешь детей рожать, больно будет очень, и будешь опять терпеть. А меня ты рожала, тоже больно было, вопрошала я матеньку, а Спирьку – тоже больно? А то ж, склоняла голову матенька до самой выи, ещё как больно. Тело заплывчиво, да душа забывчива! Всё забыла! а радость лишь помню. Радости вы мои! И сгребёт меня и Спирьку себе к коленям, и лицо нагнёт к нам и нас в затылочки крепко целует. Живы, шепчет, живеньки вы.

Батюшко наш, Власий, мебель в избу у лучшего караваевского краснодеревщика приказал выделать. Столяр Еремей красным деревом дивно занимался, такие столы, зеркала да буфеты ладил – не грех и к царскому двору привезти. Я малюткой слышала, как матенька в ночных молитвах перед киотом, после того как помолится, всех царей поминала, весь царствующий дом: и того, и другого, и третьего, и царицу Александру, и Великих Княжон и Наследника. Всех! Разве мы знали тогда, козявки, что царя убьют, и помину от него на земле не останется? А часто воображала я себе, как царь с царицей в Караваево проездом, и на наших мебелях сидят: вот на нашем диване добротном, что Еремей сработал, и восседают, дивятся на наш буфет, как он цветным стеклом зело играет, на вязаные из ярких нитей половики. Матенька вывязала и бросила перед диваном большой квадратный половик из овечьей шерсти; мы звали его «ковёр», как у городских. Стол стоял посреди избы – дубовый, на толстых, деревянными шарами, ножках. По столу тому можно с размаху бить топором, не разрубишь! Плясать на том столе можно и каблуки оттоптать! Отец Еремею за стол, диван и буфет знатно приплатил, а стулья сработал сам, топор в его руках тоже быстро играл, хотя сам о себе батюшко так говорил: не столяр я, а плотник, как Исус работник. И смеялся, а зубы ровные, белые.

Буфет тот, с яркими витражами, красные бойцы потом на дрова изрубили, а стол тот стоит. Может, и теперь где стоит. В какой чужой избе. И другие люди на нем едят и пьют, и смеются, и плачут за ним, на него локотки опустя.

Мёртвое время, а вещи живые. А люди – в земле. В земле.

Я-то вот ещё не в земле, так могу ещё рот разлепить да сказать. А слушайте, какое же великое счастье – сказать! Да неловко, нелепо я калякаю. Не умею я красно. Ну простите.

А вот помню, как матенька подымала меня на локте да сажала на могучий стул, сколоченный батюшкой, и давала мне молочка в кружке глиняной, и шептала: «Енто я Дочку подоила, пей, вкуснятинка». Две коровки у нас было: Марта и Дочка, Дочушка. Марта в марте

родилась, потому так назвали. А Дочка – после того, как сеструшка моя Зинка в Волге утопла. Дочка, Дочушка. Все детки – и люди, и животные. Мы-то тоже животные: и как они, деток кормим, и как они, в муках, коли замучат, бессловесно умираем. Или это они – как мы?

Все едино. Земля родит и зверей, и птиц, и рыб, и людей. Все живое копошится на ней, в её глубинах и её водах. Батюшко мой псалом один царя Давыда любил читать. Раскрывал Псалтырь, а Псалтырь та была достопамятная, еще до царя Алексея Михайловича на жёлтой бумаге оттиснутая: я любила нюхать её страницы. И листать. Пальцы к листам липли. Батюшко, в темной избе, свечу запалял и читал. Вслух, голос его хрипел, тихо, нежно так. Будто пел он мне либо Спирьке колыбельную. И я помню слова эти ночные, тихие. Тише, чем кошка мягкими лапами идёт. Там про всё живое, про природу, леса, зверье, горы-воды, и про то, что это все Господь создал, и навек слава и хвала Ему.

Хоть бы словечушко я запомнила… всё, всё кровь залила…

А сижу ведь на стуле, пью из кружки млеко нашей Дочушки, и так охота мне на коровушку поглядеть! Матеньке шепчу: «Мамко, сведи меня в хлев, погляжу на Дочушку». Выпила молочко, кружку на стол поставила, рядом с Псалтырью толстой. Матка меня за руку цоп, и посеменила я за нею в хлев. Марта и Дочка спали, под себя ноги подогнув. У Марты глаза закрыты, шкура у ней светло-золотая, как ряженка. А у Дочки глаза отворены. Вроде как смотрит. Не на нас; перед собой. И вроде как смотрит туда, куда человеку на земле ни разу поглядеть не получится. «Матенька, она не спит!» – так я прошептала. Пахло навозом и прелым сеном. Пахло летом. Выл ветер за стеной, и снег летел на крышу и наметал сугробы возле крыльца. Матка шепчет ответно: «Да нет, спит, коровы и с открытыми глазами спят. Так Осподь их сотворил». И наложила крестное знаменье, и шепнула нежно: «Спи, Дочушка!»

И Дочушка во сне пошевелилась. Ей, должно, снилось лето и луга, и цветы.

Староверы все, родичи наши, с маткой рассорились, когда она замуж за батюшку вышла; лишь одна родня, странная Уля с околицы, на страшную жабу похожая, пришла потемну к нашей избе, постучалась, я тот вечер помню, матка дверь отомкнула, Уля вошла, перекрестилась на икону Божьей Матери Хахульской, а поклониться-то трудно, в руках нечто тяжёлое. Я думала – кирпичи, в тряпьё завернутые. Мать с Улей на стол свёрток большой поклали, развернули – а там – иконы! Да какие красавицы, какие сверкают, будто вчера писанные, какие тёмно глядят, уж очень старинные. Уля шепчет: «Аринка, не обессудь меня, я тебе праотцев иконы принесла. Я старая, скоро умру, а ты повесь на стену-то, повесь, да по старинке лоб крести. Старая вера – вечная вера». И поклонилась принесенным иконам в пол, и опять покрестилась, а потом вроде как усы невидимые себе разгладила и бороду. Это она иногда себя мужиком воображала, такая уж была полоумная Уля с околицы. Ее дом калечный, на один бок упавший, в войну белые офицеры с четырех сторон подожгли, на нее рассердились: видишь ли, Уля им в рожи бросила, что, мол, приходят одни, прилетают другие, и цель одна – людей убить и с людями – землю их! Озлились они и избу запалили. Уля сгорела. Соседям слыхать было, как в огне кричала.

А потом бабы, рот от страха ладонью зажимая, шептали: ожила она, Улька полоумная, вся с ног до головы обожглась, а жива, и всё в свой избёнке живет, обгорелой, и на улицу не показывается, что ест-пьет, неведомо. Слухи те проверить нельзя было: к обгорелой избе боялись подходить.

Матка и батюшко спали в спальне. Там досками сруб был обит, светлыми, золотыми. У батюшки уж седые нити в волосах и бороде просверкивали, а все он матеньку ласково за руку брал, и я дрожала мелко, когда на них украдкой при том глядела. Я еще под коленями у них ходила, у матки рядом с юбкой, а уж понимала: любовь они имели друг к дружке. А редка настоящая любовь! Люди всё притворяются. Скажут, что любят, а наврут. Меж маткой и батей была правда. Мы, дети, кожей то ощущали. И радовались тому.

Иконы Ули полоумной, придурковатой, матка развесила по стенам. Вышел целый иконостас, во всю стену; и перед ним она молилась: утресь, когда вставала раненько, коровам корму задать, и ввечеру, когда уж все улягутся. Лбом в половицы стукала. А потом, в длинной ночной рубахе, со свечою в руке, шла в спальню, и я из кроватки своей малой следила, как рубаха подолом половицы метет, и какая матка моя раскрасавица вся, смуглявица. Я знала: сейчас взойдет в спальню, свечу угасит, чтоб не чадила, фитиль пальцами прижмёт, на стол в медную плошку поставит – и осторожно ляжет рядом с батюшкой на широкую деревянную кровать, на пухлую как сугроб подушку, пером от настрелянных по осени уток набитую. И кровать та, Еремеем под шутки-прибаутки сработанная, не скрипнет. Будто не матка на нее легла, а ангел Божий. Спирька спал на лавке, под тулупом батюшкиным, я в малой кроватке, укрыта пуховым одеяльцем. Рядом с нами печь, она тёплая и всю ночь будет тёплая; из ее зевла тянет щами и пирогами. Матка пироги пекла с капустой, богато по осени капусты собрали; а зима долгая ещё. Начинку матенька готовила так: варила капусту, варила яйца, потом рубила всё сваренное тяпкой. Я ту тяпку любила и боялась: любила потому, что она мне напоминала большую, с завитками серебряных крыльев, бабочку, мы, дети, таких бабочек звали парусницами, они в мареве над лугами летали по жаре; боялась из-за жуткой остроты тончайшего лезвия. «Пальцем тяпки не касайся!» – округляя для страха глаза, шептала матенька. Иногда, перед сном, тяпка в ночи качалась надо мной серебряным маятником: так она мне снилась. Все спало, утихало в ночи: скамья и прялка, в печи чугуны, за цветными стеклами буфета синие, с золотыми узорами, из настоящего фарфора чашки, белые лунные блюдца, на столах кружки и крынки, в углу ухваты; горшки и скалки в кухне, в чулане мотыги и грабли, близ печной дверцы чёрные кривые кочерги. Все спало и замирало, обмирало перед Божьим ночным молчаньем. Я в чулан тайком забегала, на бочки поглядеть: в них хранились рис, греча, овес, просо, а в самом маленьком бочонке – соль. Крышка бочонка всегда была чуть приоткрыта. Матка часто заходила в чулан и в большую деревянную солонку черпаком соль насыпала. Однажды я, малютка, захотела матеньке помочь. Взяла солонку и шасть в чулан. Ручонкой соль крупную, серую хватала, и солинка одна, острая как стекло, в ладошку впилася; я разжала кулак и заорала. Соль просыпала на пол. Солонка на полу кверху дном, соль блестит, чулан молчит, я реву! Матенька услыхала, прибежала. Меня на руки взяла, ко груди прижала, к животу тёплому. Шепчет: да ну тебя, замолкни, ещё из-за соли плакать! А потом отцу, слышу, шепчет на ухо за обедом: соль просыпала Санька, беда будет!

Имя моё полное Сусанна, да Санькой кликали.

И беда-то пришла. Не замолили.

Всё спало, замерзало перед бедой. Близко печи тепло, как летом, а снаружи зима. Снег в стекла лупит. Ветер чёрный, а снег белый. Зима, она злюка, если захочет, до костей тебя проест.

Зима чёрный флаг, расшитый звёздами, воздела над землёй.

По зиме меня убивать повели.

Сейчас вспоминаю тот день, тот мороз и смеюсь: да со мной ли это было? И мыслю: может, ко счастью стало бы моему, если бы меня тогда казнили, и не хлебнула бы я позднего дикого горюшка? Я уже взросленькая была девчонка, смышлёная. Что красным не понравилося во мне? Чем я не угодила? А все мы не угодили. Батюшко наш по осени капусту рубить батраков нанимал – из Сызрани, из Бузулука. Матка стелила батракам в сарае, столовались они с нами, батюшко давал им деньги прямо в руку, и кланялись они. Значит, по всему по этому мы по-новому назывались кулаками. Сожми руки в кулаки да выставь пред собой! И гляди на кулаки свои, и так иди. Вперёд иди, по снегу.

Я шла по снегу, гнали меня. Прикладами в спину. За то, что мы сокрыли в подполе хлеб. Расстрелять искали батюшку, да батюшко исчез, как корова языком слизала. В хлев вошли и тут же, в хлеву, Марту застрелили. Матенька Спирьку к себе прижала, вопит. Бойцы

ещё громче вопят, её перекрикивают: «Где муж твой, баба?! Преступник он!» Матка кричит: «Детей жить оставьте! Христом Богом прошу!» Помню, боец сивый, он ближе других к ней стоял, осклабился, желтые зубы, длинные, как у коня, блеснули: «Христа Бога нет и более не будет никогда! Все, закончилася Богова власть! И царская кровавая власть померла!» И кто матку под локоть подтолкнул, только она рот разинула и ему в рожу кричит: «Богова власть не кончицца вовеки! И будет ныне и присно и вовек, аминь!» Вот тут этот сивый и разъярился. Матенька моя криком тем к себе смертушку призвала, и она тут как тут. Сивый сорвал с плеча винтовку и в упор матку нашу расстрелял. Как корову. Корова перед смертью стонала. А матечка наша умерла сразу: сивый в лоб ей попал, и всю голову разнесло, мозги по избе брызнули. А потом, для верности, и в грудь стрельнул. Пятно красное расползалось по рубахе. Помрачилось у меня в глазах, я поняла: сейчас и меня. Спирька орет, аж синий весь стал. А я отчего-то мыслю: а Дочушка, Дочушка-то где? и ее тоже?

О батюшке не думала, а вот о коровке думала напоследок. Выгнали из избы. Ногами ватными шла. Босиком по снегу. Иду и мыслю: а вот праздники у нас были! К чему Масленицу-то вспомнила? Блины матенькины! Напекала она их целую гору! И батюшко наедался, и мы напробуемся, и соседи угощались, а матка, довольнешенька, расплывалась в улыбке широкой, во все смуглое свое, степное лицо, с глазами чуток раскосыми, и говорила: «Блинто солнышко, по небу в Масленую катицца, над последними снегами вертицца, над смертью-жизнью колготицца!» Вот… докатился мазаный блинок, думаю… а умираю-то, думаю, в Святки… до Масленой, до Великого поста, до Пасхи – уж не доживу…

Святки стояли тогда. Раньше, до революцьи, в Святки по селу в санях катались, в овечьи шкуры рядились, пели песни, голосили колядки, у ворот детки прыгали на снегу в тулупчиках, припрашивали у хозяев гостинцев; в широком огромном доме Лутовиновых собирались парни и девки, под баян плясали кадриль и «барыню», середь пляски целовались, и никто их за это за волосы не таскал и плетью вдоль спины не охаживал! Гулянье, Святки, кренделя сахарёные, пироги свячёные! И я умираю. А где сани, телеги? Где крики из саней молодые, жаркие? Я малая еще, целоваться мне с парнями нельзя, до этого далеко ещё. Никогда не поцелуюсь! Эта мысль меня ожгла, будто факелом горящим мне по голой груди провели. Сивый боец меня меж лопаток прикладом тычет: иди, иди шибчей! Я шла и спотыкалась, а потом обернулась и как плюну в того бойца! Слюна моя ему на грудь попала и на ремённую пряжку сползла. Я вот многое в жизни забыла, а пряжку эту помню. На ней якорь мерцал, медно блестел. Морской ремень, видать, от формы матросской. Красный солдат кричит моему палачу, сивому: «Эй, ты ее стрельнуть хочешь, да пуль-то жалко, может, в хлеву повесим? там перекладина под крышей! А вот верёвка!» Бросил сивому верёвку. Сивый погнал меня ко хлеву. Загнал внутрь. Снаружи баба чужая блажит: «Девчоночку, девчоночку-то зачем!» Я голос не узнала. Мне почудилось: это кричит сожженная Уля с околицы.

Сивый верёвку через перекладину перекинул, петлю сварганил. Поискал глазами, на что бы встать мне, к петле поближе. Ни табурета. Ни ящика. Все разломано, раскидано. Я гляжу: корова Марта лежит на боку, будто спит сладко. Мёртвая. Сейчас я буду так же лежать, как Марта. А Дочушка? Дочушка-то где?

И тут мукнуло из-за наваленного сена. Сивый крикнул в открытую дверь хлева: «Бойцы, тут ещё одна коровёнка! А мы и не приметили! Ещё будет мясо, отряду скажите!» Потом сощурился так гадко, скумекал что-то и мне кричит: «Корову свою подзови, слышь! Я тебя – на неё подсажу! Встанешь ей на хребет! И – повешу!»

Холодный пот тёк по мне, а было мне жарко, как в бане. Я вся дрожала, и сивому хорошо видать было, как я трясусь. Я взяла в дрожащую руку клок сена и стала подзывать корову нежненько, тихенько: «Дочка, Дочушка! Милашенька! Доча! Поди ко мне! Поди сюда!» И чмокала губами, как матка убитая, когда корову подзывала. Дочка из-за сена вывер-

нулась. Глядела на меня глазами бешеными, тёмными, мутными, как на чужую. «Дочушка, – звала я, и прыгал вверх-вниз мой голосишко, – подь сюда, ну поди!» И сеном махала. И тут корова наклонила голову и пошла, пошла на сивого, быстро пошла, вот уже побежала, как бык! Тёлка молоденькая, а рога-то у ней уже большие были, как у стельной коровы! Выросли! А я и не заметила! И сама она вся большенькая стала, широкая в кости, сильная, как ее мать Марта! Ни я ахнуть не успела, ни сивый. Он у стены стоял, и пригвоздила его Дочка рогами к стене, не хуже быка бешеного! Дочка, Дочка, шептали губы мои, Дочка, да что ж это, Дочка, да что ж это, что ж это, что ж…

Корова мотнула башкой раз, другой и выдернула рога из-под ребер красного бойца. Рога все в крови. По животу сивого, по этой самой пряжке медной, матросской темная кровь течет. А глазенки-то его уж закатываются. Ещё ноги сучат по разбросанному по хлеву сену, колени содрогаются. И на губах красная пена пузырится. Отошёл. Я все это вижу, да сознаю с трудом. К Дочке подхожу, а она вся дрожит, вроде меня. Так мы с ней стоим и обе дрожим. И мне страшно протянуть руку и погладить ее между рогов, как я раньше гладила. Рога-то кровавы. Как бык мирской, она бойца того пропорола. Как догадалась корова, что дитё нужно спасти? Что – смерть возле гуляет? Животное лучше чует смерть, чем человек. Я нынче знаю это.

Я обтёрла Дочке сеном рога от крови. Взяла ее за рог и осторожно подвела к двери. Выглянула. Снег блестит красным. Солнце садилось. Закат. Аж малиновым снег блестел, рубинами-турмалинами – как медный кокошник на нашей иконе Божьей Матери Хахульской. Красные бойцы маячили вдали; я видела их спины. Должно быть, шли в избу, где квартировали. Сивого не стали дожидаться. Может, думали, он сначала с девчонкой потешится, прежде чем порешить ее. Мешать не стали. Я потянула Дочку за рог. Вывела из хлева. Так шли мы с ней по селу: корова по лытки в снегу увязает, я по снегу босиком. Снег жжет ступни, но я боли не чую. Мне важно: я жива. И Дочка жива. Где мы теперь будем жить? И будем ли? Дочка, родная. Молоко, масло, сметана, творог, сыр. Матка наша делала домашний сыр – пальчики оближешь. Ешь, аж не дышишь. Перед лицом в тарелке на белые сладкие звёзды рассыпался. Мы наших коров никогда не мыслили зарубить на мясо. Хотя коровы, как и люди, стареют; и, чтобы деньги не пропали, за какие корову купили, забивают её, хоть и тяжело мясо старое готовить. Ничего. Огонь все сготовит, а человек все сгрызёт. Я тебя не зарублю, шептала я и вела Дочку за рог, ты моя спасительница, ты мне жизнь сохранила, я тебя буду любить, кормить, поить, доить и по голове меж рогов гладить, как раньше, как матенька наша делала, только где мы теперь будем жить? Где? Дочка, где?

Это я была уже матка, хоть мне десять годов было всего лишь, и корова была моя дочка, и теперь нам с ней надо было найти новый дом, и мне не надо было даже оглядываться, чтобы увидеть нашу избу: я знала, она горела, и в ней сгорала моя матенька убитая, Арина Филипьевна, и мёртвая коровушка Марта, и иконы в подполе, и топлёное молоко в печи, а где укрылся батюшко и жив ли, убит ли братец Спиридон, я и не знала. Да зачем мне что-то тогда было знать? От многая знания многая печали, сказано же в Писании. Я вела корову за рог. Тёплый рог, что нынче пропорол живое тело, а может, и живую душу, горел у меня под пальцами огнем, у меня было чувство, что я веду корову не за рог, а за горящую головню, – и боялась я эту костяную головню из кулака выпустить, потому что боялась – жизнь выпустить, я вела жизнь за рог, она перебирала тощими ногами, и я перебирала, и так мы обе, я и корова, жизнь моя, шагали по снегу, и я только слышала за спиной легкий небесный, воздушный треск, и носом чуяла гарь, но не оглядывалась назад.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Влас Игнативич ни когда неговорил мне как они с етой Земьфирой встретилис. Но я ето увидела аднажды восне. Будьто Земьфира ета дряная коней купала и сама купалас. А Влас Игнативич в ето время вазнамерилса Волгу переплыть. Он плывёт аона коней купаит и то же верхом наконе вреке плывёт. Я проснулас и говорю Влас Игнативичу етот сон. А он мне в друк говорит я нехочу говорить оней она смаим сыном спуталас. Я прямо испугалас унево лицо такое сделалос. А потом закрываит лицо руками и шепчит всё ей пращу толькобы увидать ее хоть разик разочек еще вжизне.

(купание коней. Купание Земфиры. Влас переплывает Волгу)

Земфира заглянула в зеркало. Сначала оно отражало ее внимательное лицо, потом перестало отражать. Черные блёсткие скосы воздуха, порывы ветра перевернули мир. Из глубины наплыл берег реки и вспыхнул солнечным песком. Далеко пели дикую тоскливую песню про жестокую свекровь и бедную невестку. Земфира, в зеркальных откосах, увидала себя, и как она идет по песку, глубоко ноги в него вдавливая. Сухой и золотой песок сырел на глазах. Близко мерцала и бесилась тысячью слепящих высверков алмазная вода. Пахло мокрой шерстью, остро и пряно. На берегу и в воде стояли кони. Коням слепящая вода весело плескала под брюхо, под рыжие и вороные бока. Рёбра раздувались и опадали. Кони ржали, и боясь воды, и желая ее. Земфира подошла ближе к воде, вдыхала конский дух. Веселье разобрало ее изнутри. Она стянула с себя лёгкое светлое платье, кинула его на песок. Наступила на него голыми ногами. Ей было всё равно, увидит ее табунщик или кто другой. Озорство распирало её. Вином ударяло в голову. Голая и смуглая, она разбежалась по песку и, как мальчишка, оттолкнулась ногами от земли и легко вспрыгнула на гнедого коня. Конь заржал, она похлопала его по холке. Ударила пятками. Конь стал заходить в воду, продолжая ржать. Другие кони толпились рядом, трогали боками бока её коня. Вода поднялась Земфире до лодыжек, потом до колен. Она громко смеялась, в голос. Голым бедрам приятно было обхватывать бархатную конскую кожу. Она наклонилась вперёд и обняла коня за шею, и прижалась к его тёплому телу голой грудью. Другие кони склоняли морды и пили из реки. Солнце заливало прозрачную воду пляшущим, сумасшедшим светом. Кони от радости сходили с ума. Земфира опять ударила коня в бока пятками, и он зашёл поглубже и поплыл. Она плыла на его спине, крепко обняв его. Вода мягко, ласково обтекала её и коня. Течение относило их на стрежень. Земфира испугалась, что конь утонет. Конь плыл хорошо, уверенно. И она бросила бояться. Солнце пекло её голую тонкую спину. Гнедая шерсть коня под солнцем горела красным золотом. Смуглая кожа Земфиры тоже отсвечивала красным. Оба, красные, отражались в синей реке. Прозрачную синеву то ли неба, то ли реки рассекли мужские руки. Они мерно вздымались и погружались в синь, загребая ее, измеряя. Человек плыл. Он плыл мимо купающихся коней и уже обогнал их. Серебряная голова человека далеко светилась в густой синеве неба, воды, облаков, в жарком мареве. Земфира крепче обняла шею коня. Ей не было страшно или стыдно. Она щурилась на солнце, пыталась рассмотреть, кто это плывет. Человек отфыркивался и, казалось, не видел ни коней, ни её. Плыл, резко вымахивая руками, разрезал седой головой воду. Ближе к стрежню вода темнела, наливалась синей кровью. Земфира внезапно издала клич: гей-го! Она сама от себя этого не ожидала. Кровь кочевников бродила в ней, искала выхода. Человек с серебряной головой продолжал плыть. Не оглянулся на её резкий крик. Жёлтый песочек на оставленном позади берегу превращался в узкую золотую полоску, в сияющую жёлтую ленту из тёмной косы. Земфира узнала плывущего и крикнула: Влас! Вот теперь он обернулся. Увидел её голую на коне. Хотел повернуть и подплыть к ней, но не повернул. Плыл вперёд. Земфира поняла: он переплывал Волгу. Конь фыркал и перебирал в воде ногами, Земфиру обтекала пьяная от ласки вода, лошади ржали, небо веселилось, Земфиру охватил озноб, она, пылая в масленом жаре огненного дня, замерзла в текучей воде. Повернула коня к берегу. Течение не отпускало их. Оно затягивало их. Земфира испугалась: а вдруг омут? Забила пятками в рыжие конские бока уже отчаянно. Конь плыл внутри мощного теченья, Влас рассекал руками и головой воду, плывя на тот берег, и Земфира смотрела ему вслед, понимая, что она остается на этом берегу.

(тайная картинка маслом тов. З. Зариповой. Девица ждет свиданья)

Простыни сбиты в комок. Жарко. В избе натоплено густо, чудно.

В полумраке все вещи приняли облик неземной красоты.

Девушка лежит в простынях голая. Жарко ей.

На голой груди у неё гуляют тени и чуть слышно звенит монисто.

Это монисто её башкирской бабки.

Она хранила его в тайном ящичке. Как, столько невзгод пройдя, сохранила? Кто помог?

Бог помог, кто же ещё.

Чей Бог? Какой? Как звать его: Аллах, Иса?

Девушка откинула последнюю простыню. Она мёртвой кошкой свернулась в ногах.

Девушка зажгла парафиновую белую свечу. Укрепила её в маленькой стеклянной банке. Свеча оплывала.

Монисто вспыхивало в тонких лучах.

Девушка ждала любимого своего.

Кожа её тела светилась смуглым огнём. Монисто горело на голой груди. Она прикрыла его рукой и засмеялась от прикосновения: щекотно.

Она думала: любимый! И чувствовала так же.

Она не помнила, как и когда они познакомились. Целый век знали друг друга.

Как легко влюбиться! И как трудно полюбить.

Она полюбила, и теперь ей яснее стала смерть.

Она не собиралась умирать.

И её любимый не собирался, хотя жизнь его шла на закат.

Что такое старость? Это когда человек слишком много любил. Каждая морщина – любовь.

За стеной стукнуло. Ветер! Ветка! Девушка вздрогнула. Схватила край простыни, сжала в кулаке. На себя потянула.

Дверь в избу открыта. Она нарочно отомкнула её.

Над девушкой летал маленький золотой младенец. Туман, облака и тьма обнимали его. У него не было ни рук, ни ног, только одно плачущее золотое личико.

Младенец горько плакал над ней.

Облака заклубились гуще, и дверь отворилась.

Далеко на улице, в селе, сухо, глухо и обреченно застучала колотушка ночного сторожа.

(любовь Земфиры Зариповой и Власа Ковылина. Спиридон меж ними)

Всему селу известно было всё про Земфиру Зарипову и Власа Ковылина.

Осуждали Власа: ишь, старый до молодухи охоч!

Оправдывали Власа: жёнка в гражданскую сгибла, да мужик-то ещё крепкий.

Кое-кто догадался, что сынок Власа Игнатьича, Спиридон, на красивую башкирочку заглядывается.

Осуждали Спирьку: и что у батьки зазнобу отбивает?!

Оправдывали Спирьку: парень-то молодой, в самом соку, с девками крутить нельзя допрежь свадьбы, так надо молодушку найти. Вот Зёмка, она свободная! Девка свободная? Или баба?

Все сходились на том, что, по всему видать, Зёмка баба.

О прежней жизнёшке Зёмы мало кто знал.

А кто знал, тот молчал; или уехал из Караваева; или помер уже.

Влас ходил к Земфире по ночам. Ночь глубокая, Волга за буграми посверкивает под одинокой луной. Луна одинока, а Земфира уже нет.

Обнимались, как в последний раз.

А кто видел, как Спирька к Зёмке ходил?

Никто.

И когда ходил?

Ни ночью, ни средь бела дня никто походы те не уследил.

Влас дрожал, когда к избе Земфиры, как кот, подбирался. Сердце из груди выпрыгивало.

Тихо, тише ты, шептал он бешеному сердцу, ну што ты так-то бесисся, серце безумно. Успокойси, щас ты, серце глупо, иё, родименьку, узришь-услышишь и ко груди притиснешь!

Шел, ветки хрустели под сапогами.

И никто не видал, а сам он, Влас Игнатьич, только и увидал, как в ночи, будто другой осторожный, хищный кот, шел-пробирался к Земфириной избе тот, другой. Во мраке Влас не различал лица.

Кто? Не давала ночь ответа.

Влас затаился. Ветки перестали хрустеть. Пригнулся. И на корточки присел. За ветвями.

Чужой мужик внезапно шагнул в полосу лунного света, и Влас чуть не закричал, и рот успел себе прикрыть, крепко зажать ладонью: мертвенный лунный свет озарил лицо Спирьки, сына его родного.

Спирька крался к Земфире. Что уж тут говорить. Вот она калитка, вот она дверь.

Вот уже Спирька всходит на крыльцо и осторожно, кулаком, в дверь стучит.

По спине Власа тёк ледяной пот.

Сейчас откроет! И что дальше случится?

Он не знал; и никто не знал; а Бог в небесах знал. Да молчал.

Дверь тихо отворилась. На пороге стояла Земфира.

Влас напряг слух. Губы Земфиры шевельнулись. Она говорила.

Затылок Спирьки маятником мотался перед ней.

Влас сжал кулаки и зубы. Он молился Богу, чтобы не броситься вперед, как зверь, и не задушить Спирьку.

Войдет?! не войдет?!

Вдруг Спирька попятился.

Земфира стояла в дверях, как нарисованная умелым богомазом на длинной большой доске.

Потом Спирька вдруг кинулся к ней. Обнял крепко.

Влас простонал и не слышал, как он стонал.

Земфира и Спиридон стояли, обнявшись.

Влас стоял, зажмурившись.

Потом открыл глаза и глядел ими, от безумья слепыми.

Потом Спирька выпустил Зёму, как птицу, из крепких молодых рук. Спина его ходила ходуном: он тяжело дышал. Лицо Земфиры было все красное, и губы тоже, нацелованные. Чёрные раскосые глаза полны слёз. Они мерцали и солёно переливались, вспыхивали в густой и тёплой тьме.

Спирька сжал кулаки и потряс ими перед румяным лицом Земфиры.

Слёзы выкатились из её раскосых глаз и заструились по смуглым скулам.

Спирька пятился с крыльца.

Земфира стояла в дверях.

Спирька сошел на землю.

Земфира глядела поверх его головы.

Будто на звезду глядела.

Спирька, пятясь и не сводя глаз с Земфиры, уже подходил к калитке. Спиною открыл её. Вывалился на улицу.

Влас сидел, сгорбившись, за кустами, ждал.

Спирька повернулся и быстро, всё ускоряя шаг, пошел, размашисто пошел по тёмной улице.

Когда Спирька скрылся из виду, Влас разогнулся пружиной. Быстро прошагал на крыльцо. Женщина не успела закрыть дверь. Влас схватил её, смял, примял, обнимал как душил.

– Зёмка… Зёмка… Да што ж енто… што ж…

– Ты видел? – ровно, равнодушно спросила она, а слёзы лились.

– Да! Всё видал! И всё… – Наврал. – Слыхал…

– Вот как, – усмехнулась женщина.

Она отвернула лицо. Не хотела его целовать, но целовал он, поцелуи жгуче бежали по её шее, щекам, скулам, лбу, губам, груди, она стояла под поцелуями, как под дождём, и постепенно руки её сами закидывались мужику за шею, за спину, а тело, выгнувшись, безмолвно звало его тело: прижмись! крепче!

Наконец обнялись.

– Да што ж мы так-то… на крылечке… давай хотя в избу взойдём…

Вместе, не разнимая рук, переступили порог.

Влас одной рукою затворил дверь. Опять обнял Земфиру и шептал ей – из губ в губы:

– А пошто ты с им?! Вить он мой сын! И нетути стыдов на табе!

Она задыхалась. Хотела говорить и не могла. Поцелуи сыпались золотым дождём.

– Мне… стыдно… я… не знаю, почему…

Она и правда не знала.

Пожалела? Оступилась? Ошиблась? Сама захотела?

– Я… сама…

– Ах ты! – Влас оторвался от неё. Глаза его горели тускло, красно. – Сама!.. вот оно… Сучка не захочеть, кобелёк не вскочить… Сама…

Опять рванулся, притиснул. Судорожно ощупывал, оглаживал шершавой горячей ладонью её затылок, развитые чёрные косы.

– Врёшь! На сабе наговаривашь! Нарошно всё ты!

Целовал ее мокрое, солёное лицо.

– Ты… да ты для мене… ты…

Не знал, как всё на свете слить в одно золотое слово.

– Ты мене… моя рука, нога…

Нет, не то.

– Ты… всё!..

Опять не так.

– Ты… енто я, я сам… Табе не будеть, мене не будеть…

Земфира обмякла в его руках. Падать стала, он подхватил. На руки взял и понёс в избу. На кровать положил. Подул ей в лицо. Она открыла глаза. Это дул, реял ветер. Это вдали под луной Волга сверкала. Лунная дорожка бежала по воде, убегала в далекую даль. Там, в той дали, не было голода и революций, и войн тоже не было. Там ангелы пахали Райскую землю на крылатых конях, и за плугом золотым шли весёлые, крылатые.

(тайная картинка маслом на доске, отломанной в сарае, тов. З. Зариповой. Трое за ужином)

Они сидели, все трое, за столом.

Зеркало туманно отражало их.

Керосиновая лампа точила блаженный, тихий свет.

Пустая посуда молчала на голом ночном столе: люди всё съели.

Серебрилась борода угрюмого старика.

Силён, с виду богатырь, а спина сутула; много горя видела и знала эта широкая, горбистая спина. На дне глаз горе напрасно пряталось; зрачки по-волчьи, открыто и дико горели горем.

Раскосая девушка сидела, выпрямив спину. Она надела свои лучшие наряды, словно был сегодня праздник.

В лучших, красных нарядах сидела на столом она: на ней надет был черный казакин, весь густо расшитый серебряными монетами, серебряной нитью – узоры изображали белые тюльпаны, белые розы и ветки папоротника, будто ледяные, зимой, на ночном оконном стекле; под казакином топырилось оборками ярко-алое, как кровь, платье. На груди, поверх алого шелка платья, червонным золотом вспыхивало старинное монисто. Голову плотно обнимала полосатая вязаная шапочка, по ободу расшитая мелким волжским жемчугом. На ногах красные сапожки, и чуть поскрипывали – под столом девушка наступала правою ногой с пятки на носок, нервно и мерно.

Молодой парень, в простой грязной рубахе, сидел, вытянув перед собой руки на столе и сильно сжав их. Парень был сив и красив. Красив, как царевич, хоть с виду бедняк, и рубаха грязная, в земле.

Все трое молчали.

Потом седобородый старик разжал губы и сказал тихие слова.

Их расслышали только серебряные мыши по углам.

Парень вздрогнул. Кожа у него на лбу собралась в складки.

Он протянул руку к девушке и осторожно коснулся её плеча.

И отдёрнул руку, будто обжёгся.

Старик насупился грозно.

Девушка сидела и ждала. Монисто на её груди сверкало и гасло.

Лица троих были неподвижны, по ним ходили лишь отсветы и тени.

Парень наклонил голову низко. Девушка вмиг стала бледной. Смуглота и румянец быстро сбежали с её лица.

Старик выдохнул одно слово. Лишь одно.

И все трое замерли, будто замёрзли.

И долго, долго били настенные часы, словно хотели вдребезги, в зеркальные осколки, разбить усталое, старое время.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Ну что вот ета Земьфира запала ему вдушу. На горе горюшко приехала ета Земьфира изсваей башкирие. Лучшебы она там сгинула всваей башкирие. Я ее уже сечас терпеть немогу. Влас Игнативич говорит на людей ненадо злитса ни когда. А я вот злюс. Ничево ссобой поделать немогу. Злюс и всё. Ина Земьфиру злюс. Кроме горя она Влас Игнативичу ни чего не при несла. Для меня она то же горе. Он часта сидит закроет лицо ладоню. Ето значит он Земьфиру ету вспоминаит. Тогда я выхожу из барака наснег водних лаптях он мне сам их излыка сплел стою на холоду иплачу.

(отъезд Власа Ковылина на поселенье)

Подводы, кони, грузовики, флаги алые, и сухой свист пуль, и визги баб – каша людская варилась, и серая железная ложка неба собирала с краев горшка прилипшие, мёртвые, ещё не разваренные зерна. Серебряная голова Власа далеко виднелась над толпою крестьян – он тут был выше всех, наиболее высоченный он и всегда был в селе. Со стороны глядеть – сельский сход. Но под редкими чёткими выстрелами посередь толпы падали люди: падали… падали. И становились падалью. Пуля нашла коня; и конь свалился, да умирал долго – тряс ногами, дергал крупом, пытался ржать. Потом на губах коня вздулась пена, и он завел глаза под веки и сдох. Выкатились крупные синие белки: словно две перловицы дети вытащили из ледяной Волги, из песка, запорошенного жёстким снегом, распотрошили – любуйтесь дармовым перламутром.

Притормозил близ толпящихся крестьян грузовик. Откинули крышку пустого кузова.

– Лезь! Быстро! – крикнул уполномоченный, еле согнул руку в твердом черном кожаном рукаве и для острастки потряс револьвером и выстрелил вверх.

Пуля ушла в небеса.

Мужики топтались перед грузовиком. Потом полезли в кузов, друг друга подсаживая – тех, кто постарей, послабее. Влас поднял на руки, как ребёнка, старика Порфирия Шушунова.

– Молись, Порфирий Агеич…

Всех Влас в кузов подсадил. Набили кузов мужиками. Бабы, уже не сдерживаясь, голосили. Люди в куртках кожаных, с красными на рукавах повязками, напрасно стреляли в воздух.

– Влас! – крикнул его сын Спиридон, пытаясь обернуться к нему; Спиридона, с другими сельчанами, заталкивали в другой грузовик.

Внизу, в редеющей толпе, застыла Земфира. Плотно, её большим башкирским платком, были обвязаны её лицо и плечи. Вырядилась в атласный хиджаб, в белый, как на свадьбу. Попеременно глядела то на один грузовик, то на другой. Один увезет Власа. Другой – Спирьку.

– Остаёсси, баба, – неслышно, губами одними, вылепил Влас.

Он уже стоял в кузове. Старый тулуп овечий незастегнут. Зимний ветер полы мотает. Все испуганно тут же сели на холодные доски, а он стоял. Стреляй в него не хочу!

Медленно, нагло руки раскинул. Словно бы обнять всех хотел.

– Сельчане! – Зычный голос Власа провеял над головами, звонкой саблей резанул мужиков и баб по лицам. – Безвинны мы! Губять нас зазря! Молитеси за нас грешных! Ежли смерть – примем! Исус тожа за нас за всех смерть на кресте принял!

– И воскрес! – раздался ответный звонкий, отчаянный крик.

Влас крутил головой, искал, кто выкрикнул это.

В другом грузовике, на другой стороне сельской площади, ей же имя было нынче – площадь Ленина, во весь рост, как и батька, стоял Спирька и махал рукой.

Влас вскинул над серебряной головою обе руки, сжал в кулаки. Два мощных, грозных кулака торчали над головой полонённого человека. Все люди, задрав головы, лбы к небу закинув, на кулаки эти смотрели. Молчание разлилось. Как молоко: шли мимо подойника, ногой задели, корова взмукнула, а молоко-то льётся, льётся, льётся. Белое. Тёплое.

По ногам, по сердцам льётся.

Да почему молоко то ноги обнимает, в грудь, в щеки плещет?!

…из серых туч посыпал мелкий и частый снег, густел на глазах, завихрялся, сворачивался в кольца белой бараньей шерсти; и молоком, да, им, родимым, плескал в голые лица,

и голые голодные губы ловили белое, благое. Завели моторы. Грузовики, сначала один, потом другой, затряслись, задрожали. Густел моторный храп. Рванули с места, шоферы не заботились, ехали как слепые, под колёса попал мальчонка, заверещал, выдернули, чудом жив остался, да рука плетью висела: сломал. Люди в кузовах попадали на доски, вцеплялись в борта, глаза жадно, больно искали в толпе родные лица. Бабы, не боясь сердитой пули, вопили:

– Прощай, Ванюша!

– Костя-а-а-а! Господь с тобою-у-у-у-у!

– Ириней! ждать тя буду! всю жизню буду! вот те крест!

– Алешенька! Сыночек! ты ежели што, пиши! на почту сельску, в Караваево сельцо! што в Жигулях! Запомнишь?! помнишь, помнишь?!

– Зинови-и-и-ий!

Холод лился отвесно на землю из стальных февральских небес, холод и молоко, молоко заливало грузовики, площадь, людей в чёрной коже, оружие, что крепко они держали в руках, крыши села, в густом мохнатом инее, дымы из труб – ветер вил дымы, серыми ветвями гнул их к земле, а серая, усеянная палой листвой земля из грязной и мрачной стала шёлково-белой – невестушкой, лебёдушкой, зимней царевной. После оттепели ледяною стеной надвигались адовы морозы. Земфира стояла возле сельсовета неподвижно. Ветер вил шёлковые, вьюжные концы ее хиджаба. Грузовик трясся, уезжал, должно, навек, а Влас все стоял – стоял, крепко уперев ноги в дно кузова, качался, а не падал. Глядел на Земфиру. Земфира глядела на него. Из их глаз над толпой протянулась незримая нить, она чуть видно серебрилась среди завихрений мелкого бешеного снега, снег сыпал и сыпал, а нить от глаз ко глазам все тянулась и тянулась, не рвалась, и вдруг толкнуло под рёбра Власу, ему почудилось, чуть выпирает уже живот под платьем у Земфиры, бабье нежно растущее пузо сердцем увидал он, понял, губу закусил, ни выкричать, ни жестом показать, бесполезно, катит машина и через миг укатит нановсе, и чей тот младенец живет у бабы во чреве, никогда и никому не отгадать, его или Спирькин, Спирькин или его, а что, если крикнуть? так, чтобы поняла: знаю! прощаю! роди! только роди!

Он вытянул шею, подался вперёд, закинул подбородок, окладистую, как у попа, серебряную бороду, вдохнул холодный ветер и напряг мускулы шеи. Заорал так, что люди, трясущиеся в кузове, позатыкали пальцами и ладонями уши.

– Зёма-а-а-а! Люблю-у-у-у-у! Роди-и-и-и-и!

Спиридон, в катящемся по иной дороге грузовике, вцепившись в борт кузова так, что пальцы побелели и костяшки посинели, будто это руки мертвеца вмиг стали, а не живого-живущего, не повернув голую голову, слушал, как отец надсадно, в муке, орёт.

Мужики окидывали Спиридона нехорошими взглядами.

– Слышь, батька твой как блажит.

– Прощацца с зазнобою.

– А ты што, яму, батьке, дорогу-ти перебежал? Ровно заец?

Спиридон облизывал губы, будто поел сладкого.

– Не перебежал. Оно само так случилося.

– Случи-и-илося! – передразнил его колхозный тракторист Митя Верхогляд. – Явилося, не запылилося! Не-е-ет, перебежал. Перебежал!

– Я бы тож перебежал, – вздохнул чёрный и кривой, будто кочерга, старик Левонтий Гущин. – Красивенька уж оченно башкирочка. Да и… одиноко живёть… сиротина… соблазну для парня целай воз…

– Воз, воз! Вези вот таперя!

– Грузовичок ентот нас прямехонько в гибель и вязёть!

– Нишкни… ищо о гибели реча никакова нету…

Спиридон смотрел на одиноко, вдали от толпы стоящую женщину. Тонкая, прямая, лицо обмотано ихней мусульманской белой тряпицей. В жару ли, в холод так вот обматывается. Мало кто видел ее власы распущенные. А вот он видел.

«Да ведь и батька – видел», – подумал темно и страшно, сжал зубы до скрипа.

Всё. Оборвалось всё. Нет возврата.

– Што будет, не знаю, – губы сами говорили вслух.

И мужики слышали это бормотанье.

– Што, што! Господь нас не осудит! А люди – засудят!

– За што засудят-то, братцы?

– За всё хорошее! Да просто за то, што – на свете живём!

– За то, што – мужики мы… Землицу отняли, работать на ней дозволили, да всё наработанное – в общой котёл… платы нет, урожая в закромах нет… ничево нет… да и самоё землицы – тож нет! а таперя и нас – не будеть!

– Влась ить у их.

– Влась, влась! повластвовал и слазь!

– А што, Егорка, царя обратно хошь?!

– Да ну яво, царя, в баню… при йим тожа неважнецки было-ть… как вспомнишь, в солдаты тя… у нас вот всю семью в мировую перебило…

– Так то в бою! а тут, вишь, приходят и стрелют! прямо на пороге избы! ento – хороша влась?!

– Влась всегды плоха, любая. Ento надо затвердить… запомнити на жизню всю…

– Уж запомнили!

– Запомнили – ищо разик повторитя… штоб из башки не выпало…

Грузовик трясло. Туда, сюда качался кузов, и от борта к борту качались в кузове люди, будто они все были арбузы или дыни с заброшенной бахчи, и их, подмерзлый урожай, катили в большие города, на съедение горожанам, что привыкли вкушать плоды земли без борьбы и без любви, и без пота, и без работы; и без молитвы, какая теперь молитва, земля бессочная, равнодушная к человеку, а Бога убили. В небесах – подстрелили! Из револьвера! Среди туч, зверюги, нашли.

Спиридон трясся вместе со всеми. Снег сёк ему лоб, ударял по щекам, жёг виски, колол веки и шею. Он наклонился и быстро, крепко обтёр ладонями мокрое лицо. Когда поднял голову и глянул на мир снова, сообразил: на отца-то то он так и не посмотрел напоследок – только на нее, на башкирку, сухо, тонко и прямо стоящую в белом, как простыня, хиджабе на краю мгновенно белеющей площади, – вот и небо землю укутало в саван, и – айда хоронить.

Бурлили, топтались на перроне, наваливались живыми волнами на вокзальные камни крестьяне. Они, свезённые на вокзал в град Куйбышев со всей Куйбышевской области, знать не знали, куда их дальше повезут. Все тут самарские земли гудели и толклись, в людском месиве на узкой платформе: и Кинель, и Бузулук, и Пестравка, и Красный Яр, и Камышла, и Безенчук, и Клявлино, и Елховка, и Исаклы, и все понимали: вдоволь набьют товарный поезд, дышать нельзя будет. Люди обращались в скотину; и везли в вагонах для скота, всё правильно, так всё и должно быть, бормотал старик Порфирий Шушунов, мучиться должен человечишко, прежде чем его осенит благая мысль: не мучь ближнего, а полюби его изо всей силушки.

Власа и других мужиков заталкивали в телячьи вагоны прикладами. Больно ударили в спину, под лопатку. Влас развернулся было, обидчика вдарить; да солдат уже ствол на него наводил.

– Ещё побалуй, грязь! Вперёд!

И Влас повернулся лицом к дощатому вагону и полез вперёд. Туда, куда все лезли. Вместе со всеми.

– Вот ежли бы енту картинку видел товарищ Сталин!

– Цыц, ты, умолкни…

Кричавшего о Сталине ударили прикладом по голове; мужик с разбитою головой свалился под ноги лезущим в вагон, и, плача, его топтали лаптями и сапогами.

Больше трех недель, без малого месяц, вёз товарняк на восток людское горе.

В скотьих вагонах и человек становился скотом. Поганое ведро тряслось в углу, прикрытое доской; доска то и дело валилась, когда состав особо сильно тряханёт. Посреди вагона стояло ведро с водой; оно быстро пустело, воду мужики пили, встав на колени и окуная лицо в жидкий холод, будто морду бык в ведро в хлеву окунал. Пили, хлюпая, втягивая воду губами. Втягивали в себя жизнь. Это ведро солдаты выносили на остановках, вновь наполняли водой и опять ставили посреди вагона, на солому. В другом ведре, рядом, время от времени ставили еду. Иногда из ведра торчали хвосты селедки. Иногда – куски хлеба: объедки.

– Из столовой, должно, насобирали… люди не доели, нам суют…

– Спасибо, Порфирьюшка, что сунули! не сдохнем…

Грызли хлеб, глядели друг на друга. Струились одежды. Тихо было в вагоне, когда ели, ни гомона, ни ругани, ни вздохов, ничего. Молча вкушали тот хлеб, что давали. Что Бог посылал. А может, не Бог. Нет, все-таки Бог, думал Влас, а перед глазами, пока жевал черствый кусок, мелькали красные тряпки, флаги слепящие, разорванные то ли ветром, то ли чьей-то могучей великанской рукой: тряпки лились кровью, и весело Власу было, ибо он насыщался, а красные флаги – что ж, таков жизни поворот, это как на лодке в Жигулях: плывешь, а тут коса, отмель песчаная, длинная, по теченью лодку завернешь – а там, глядь, и порог, камни из воды торчат, воды бешено играют, солнце в них пляшет, перекат! А ну напорешься днищем! А времени уж никакого нету лодку повернуть. И прямо на порог несешься, и весело тебе: смерть примешь на ярком солнце, на красном миру, средь веселящейся природы Господней, ну разве ж это не счастье! Да почему только вода в Волге красная? красная почему, а?! ведь не война же…

«А может, то война», – била под куполом живым, под лобной костью угрюмая мысль, и дальше не пускал эту мысль Влас, потому что ведь не может быть война народа со своим народом; но вспоминал гражданскую, и сердце болело, и тёр кулаком то место, где болит.

И хлеб горький, покрытый зеленым серебром плесени, догрызал.

Поганое ведро выносили все по очереди, на станциях. Настал и черед Власа. Он подхватил грязную дужку, вылез из вагона, вдыхал вольную волю. Зима сгущала холода. За Уралом плотно, мощно лежали снега. Как и когда товарняк переехал границу смертного мороза, невдомёк им всем было.

Станция, ночь, огонь над станционной избёнкой. Окно зарешечено. Всюду люди в неволе: что там, что здесь. Нет живого места на земле, чтобы от неволи было свободно.

В неоглядном далёке, выше туч, но ниже звёзд, детский голос тоскливо, тускло, спотыкаясь, пел тягучую песню. Забытую.

Влас пошёл, пошёл к станции. Параша оттягивала руку, нес чутко, страшился уронить.

Никого; и то правда, ночь глубокая. Ни у кого из мужиков время не спросить. Так ведь что? время для них закончилось, а у Бога на небесах времени и так нет; там иной отсчет бытия.

Влас тяжело, грузно шёл с парашей к станции, а за ним неслышно, даром что в чугунных сапогах, шел памятник, с пьедестала сошедший: с гранитным лицом охранник. Власу не нужно было оглядываться, чтобы увидеть это затверделое, с железным прикусом, лицо; он видел его лопатками и хребтом.

Влас в зданье станции вошёл, и охранник вошёл.

Влас безошибочно, на запах, к нужнику двинулся, и охранник за ним.

Влас в нужник, и охранник следом.

– Не затворяй дверь!

Крик ударил меж лопаток, и больно стало плоти и костям.

А душа смеялась. Наплакалась она вволю, душа-то; смеяться ей теперь над всем надо было.

Влас вылил ведро. Повернулся. Лицом к лицу они теперь с охранником стояли.

– Ну што? – первым спросил Влас.

– Что, что! Дед Пихто! Ступай! – Солдат дернул головой. – Вперёд!

Влас пошагал с лёгким ведром вперед. Вышли под звёзды. И опять Влас голос подал.

– Долго здеся стояти будем? Ай вскорости двинемси?

Шагов десять прошагали молчком.

– Час простоим. Воду заливать будем. И угля загрузим. Узловая станция. Бердяуш.

– Бердяуш, а игде енто тако?

– Разболтался я. Командир накажет. Мал-чать!

И опять приклад грубо, больно прислонили к его мощной многострадальной, работной спине, всей во вздутых сильных мышцах, они уж опадали от голодухи, затекали под ребра, таяли, – будто древом, железом и кулаками, что стали железа твёрже, ему то и дело между лопатками ставили бесконечные, позорные клейма. Эх бы развернуться и одним бы ударом того дохляка!

…Осподи, спаси-сохрани…

Старик Порфирий Шушунов однажды поймал в вагоне крыску; она залезла в пищевое ведро и лакомилась высохшим хлебом. Порфирий сидел рядом с ведром. Распахнул глаза шире. Долго глядел, как зверёк ест. Ела крыска нагло, не убегала с куском в лапках – потому что все люди в вагоне замерли, ночь это была, и кто спал, кто плакал, кто бормотал молитвы, кто пытался забыться, да не получалось. Порфирий глядел-глядел на крыску да и внезапно упал грудью на ведро – и грудью закрыл ведро с краями.

Влас, рядом сидел, тихо прогудел:

– Порфирий, пусти. Пущай уползеть. Животина. Ись тож хотить, равно жа как и мы.

– Не-е-ет, – Порфирий обернул разрезанное мелким смешком, деревянной щепкой поостревшее древнее лицо, – не-е-е-ет! Не выйдеть у няё. Спымал так спымал.

Осторожно сдвинулся, руку в ведро запустил. Охнул: крыса его укусила, защищаясь. Вынул зверька. Пока вынимал, придушил: за шею держал.

Влас туманно глядел на мёртвую крысу. Потом его взгляд из влажного и плывущего сделался острым, железным.

– Агеич… по кой? За што?

– Ишь, сердобольнай какой тута стал, Игнатьич… в избе-от кота нябось держал, на крыс-мышов… и радовался ить, когды кот мыша спымат… а тут… – Острее, неистовей стал взгляд Порфирия. Ровно остриями ножей, грудь Власа зрачками проткнул. – А нас-то всех – за што?!

Влас молчал. Потом протянул руку ладонью вверх.

– Дай выкину.

– Куды? Состав же идёть.

– Вон щель меж досок.

Влас взял мёртвую крыску в руку. У неё были оскалены длинные зубы. Он подполз по соломе к стенке вагона, вслепую, во тьме, нашарил дыру и вытолкнул в нее мёртвое тельце, минуту назад ещё бывшее живым.

«Вот тако и мы жа все. Нонче живы, завтра мёртвы. А што жа посля нас на землице останецца? Што? Делишки наши? Детки? Косточки белы? Али жа…»

Пронзила, острым копьем от затылка до пяток, простая мысль: да сама земля и останется.

«Все лягем в землю. Уж сколько нас лягло. Не счесь. Разумом не охватити. И мы все – лягем. Хто тута трясецца, в вагоне сём телячьем. Аринушка моя вон лягла. Сам иё и закапывал. Дух той ямы разрытой – помню. Навек в ноздрех. И без попа, сам молитовку читал. А с краёв раскопа на дно ямины – черви белы да красны падали, жуки чёрны валилиси. Живность всяка землю населяить. И вить стоял, лопатою махал и думал, думал… как… Аринушку мою… черви ись будуть… Черви!.. букарашки всяки… Корни травны будуть иё рученьки, личико иё пронзати… Как тогды не упал? Уж лучче бы свалицца и померети там жа, с нею рядышком. Как спали, обымалиси… так бы и в землице обнялиси, вместе-двое… Нет. Не суждёно. А што суждёно? Што, хто останецца посля мене? Спирька? Сусанка? Ну они ж, понятно ж. Детушки. Да игде Санька? нябось в землице сырой… а игде Спирька окажецца завтре? А – внутрях Земфиры хто? Во чреве башкирочки моея… Ластонька, детонька… утешеньице моё…»

Ещё многими счастливыми, нежными именами называл в мыслях Влас Земфиру, и свято верил, что вот через вёрсты, через снега и земли, через частоколы дорожных столбов и россыпи крыш земных изб, домов, сараев она там, в родном сельце, слышит его. А потом, закончив шептать, подумал: «Безумен я, сам сабе лелею, да пущай всё идёть как идёть и прийдёть в свой черёд, пущай родицца робёночек у Земфиры, и пущай я помру, не увижу ево, а всё одно он будеть жити на свете, а я лягу в землицу и стану землёю у нево под ногами, вот и хорошо, вот и ладно».

И думая так, утешился он, собственными согреваясь слезами, трясясь в телячьем вагоне, под шепот тихой молитвы старика Порфирия Шушунова:

– Осподи, милостив буди нам, грешным.

(картина маслом, никто не видел, художник на задах сам сжёг. Раскулачивание)

Село гудело. День являлся страшен, ночь ещё того хуже. Они приходили когда захотят. Имена их были уже всем известные; называли они себя всяко: коммунисты, комсомольцы, уполномоченные, активисты, сельсоветчики, а ещё они били себя кулаками в грудь и кричали: мы – народ! Народ глядел на них сначала молча. И понимал, и не понимал. А потом народ кричать начал, звать на помощь, да стало поздно. Именем закона! Хозяева дома – при хозяевах имущество заберём. Хозяев дома нету – заберём и без них. Всё хапали, хватали, с крыльца выносили и на подводы клали, и в кузова грузовиков бросали. Иконы со стен срывали и в угол кидали. Боялись Бога или же так ненавидели Его? Телеги и грузовики медленно тянулись к сельсовету. Там скарб сгружали, внутрь сельсовета вносили. А сельсовет сам располагался в бывшей избе крестьянина Стеньки Вагапова. Степана давно расстреляли. А избу под начальство приспособили. Стон поднялся по селу. Звук длился и ныл бесконечно. То стон, то крик, то вой, то вопль. О молчании забыли. Сама земля кричала. В избы входили без стука, ногой вышибали дверь, прикладом. Дети скатывались с печей и визжали, видя, как прикладами бьют родителей. Родители на полу валялись, катались. Старики на лавках горбились, крестились. Их штыками тыкали в руки, во лбы: нет Бога, сказано вам! Сидеть молча, не вопить, мы пришли всё ваше имущество забирать! Люди смотрели, как из дома выносят в метель, на снег всё их нажитое. Киоты на пол, со стен сорванные, летели. Их топтали рьяно, усердно и зло. Они раскалывались с хрустом. И полымя наказующее не подымалось перед татями, и небеса не разверзались. Тати бегали по избе, по двору и кричали надсадно: «Что где спрятано тут у вас?! Где золотишко?! Где хлеб?! Признавайтесь, хуже будет! За утайку – пуля!» Сшибали замки с амбаров. Выносили мешки. Девочка подошла к мешку, малютка совсем, и расковыряла в нем дырку вилкой. Зерно полилось из дыры, потекло на пол. Активист-коммунист, соседский Петрунька, пнул малышку в лицо сапогом и разбил ей личико в кровь. Она упала на пол и ползла, и ревела. Петрунька кричал: «Саботажница! Воровка! Зерно колхозное своровала! В расход ее!» Мать бросилась, упала на колени, заслонила девчонку собой: «Меня кончайте!» Комсомолка Валя Игошина, в скрипящей кожаной куртке, деловито сгребала на середину избы тулупы, шубы, платья, понёвы, валенки, сапоги, рушники, цветные полосатые половики. Мужики-коммунисты, кряхтя, сволакивали на крыльцо кадки с кислой капустой и солёными огурцами, с хрусткими, кисло-сладкими мочёными яблоками, корчаги с клюквой, голубикой и мочёной брусникой, синевато блестевшие четверти с давленым, засыпанным сахаром шиповником, мохнатые кудрявые овчины, выделанные кожи, полога, тяжелые чёрные плуги, короба, смотанные верёвки, хомуты, чересседельники, всю лошадиную сбрую, туеса с сушёными грибами и свежим, только сцеженным творогом, ладки с маслом. Мешки погрузили на сельсоветские подводы. Петрунька процедил: «В амбаре много ещё мешков осталося! Амбар – на замок!» Ключом перед носом хозяина махал. В избе стояли крики, крики стояли и на дворе. Выйдешь на улицу – крики стояли в каждой избе по всей широкой улице, поднимались в широкое, туманное холодное небо. Шумели, как на ярмарке, как на сходке. Тати топали громко, кричали хрипло, вываливали мочёную бруснику в услужливо подставленный таз, хватали ягоды грязными руками, совали в рот, чавкали и чмокали, облизывали пальцы, ловя ртом сладкий сок. На улице, под легким туманным снежком, в сани и подводы швыряли свернутые в рулон ситцевые отрезы, тончайшие шали из ангорского козьего пуха, шёлковые сарафаны, опояски, душегреи, обшитые бараньим мехом, татарские пимы, привезенные из Казани и Уфы, красные бабьи сапожки, украшенные золотным шитьем, и хромовые мужицкие сапоги по колено, кроличьи шарфики и набивные платки с кистями, белые и черные, в красных розах и пионах, и опять мешки

с зерном и просом, кованые сундуки, ржавые грабли, вилы, трезубые и рогатины, косы-литовки, ещё вчера отбивали и правили на шершавом оселке, вёдра под молоко и вёдра из колодца воду носить, коромысла с дивным узором, бидоны, крынки, чугуны. Коров, коз и овец выгоняли из хлева и гнали за ворота. Гусей, кур, уток и индюшек швыряли в сани. Куры квохтали, гуси громогласно гагакали. Выскакивали из саней. Их, хохоча, пристреливали на обед. Кому кричали: собирайся в чём есть, садись в пустую подводу! Бери с собой ведро, чтобы было куда нужду справлять по дороге! Хохотали, как ржали. Кого оставляли в пустой, до нитки вычищенной избе, с чугуном теплых щей в печном зеве да с одною подушкой на шестерых, семерых. Хлеба ни куска. Подушку клали на пол, на середину избы, туда, куда недавно стаскивали все вещи. Все ложились кругом, а головы клали на подушку. Укрыться было нечем: все одеяла взяли. Все полушубки, зипуны и все тулупы. Кому не хватало подушки, тот клал голову на живот другому. Грелись руками, словами. Ободряли друг друга. Печка отдавала последнее тепло. Среди ночи топить не вставали. Коротали эту ночь на полу, щами пахло из чугуна, кровью пахло от половиц и мочёной брусникой. А кого и выгоняли из дому на мороз, вопили: «Садись в сани! Быстро!» И садились люди в сани. Их, всю семью, везли, они не знали, куда. В освободившемся от людей доме держали лошадей, и долго покинутый дом служил конюшней. Потом служил детским садом, а то и больничкой. А кого и не загоняли в сани, чтобы навек увозить из села, а махали на них рукой: ступайте, братцы, куда глаза глядят! А потом поправлялись: не братцы, а враги народа! Враги народа шли побираться по селу. Те, кому удалось упастись от уезжающей в никуда телеги, от кузова черного грузовика, выходили из избы, горбясь и закрываясь рукавом, чтобы не увидали и не узнали, кто это такой сердобольный, и не взяли на заметку в сельсовете, и украдкой совали в руки умирающим с голоду детям, бабам и старикам корку, горбушку, варёную картофелину. Или морковку. Или солёный огурец. Да разве солёным огурцом жив будешь. А ведь выживали. И огурец спасал. Активисты не прекращали работу. День ли, ночь – им было всё равно. Приходили в избу, вынимали бумагу и хрипло, то и дело откашливаясь в кулак, громко читали её приговоренным: «Кулаки являюцца чуждыми елементами совецкой власти! Всемерно содевствуют белой банде! Всящески стараюцца вредить великому делу социалистищево строительства и колехтевезации сельсково хозяйства! Ведут агитацею против решений камунистической партеи и совецкой власти! Стараюцца навредить совецкому сельскому хозяйству и сократить посевную плосчадь! Умышно уничтожают продукты и рабочий скот и прятают хлеб! Етим наносят немереный вред нашей Родине! А посему Караваевский сельсовет постановил! Выселить вас, кулаки и преступники против нашево Отечества, за пределы Куйбышевской области! Нам поручено сделать опись всево вашего кулацково имущества! И погрузить вас на транспорт и увезти отседа навсегда! А кто остаёцца, тово определить под надзор! А особо злостных елементов расстрелять немедля! С подлинным верно!» Сворачивали бумагу с печатью. Семья ледяными глазами глядела на бумагу, на узловатые руки читавшего. Да это же Петрунька соседский, как он может так? А вот может. Сейчас все могли всё. И можно было всё. Приказывали людям не признавать раскулаченную родню. Забыть выселенных. Люди боялись быть роднёй врагов народа. Друг на друга изумлённо глядели: а мы разве тоже враги народа? Тоже, тоже, к вам завтра активисты придут! Скот тяжело и страшно, тоскливо мычал и хрюкал. Скотину вели в наспех сколоченные колхозные коровники и свинарники. В коммуне скот погибал быстро, от голода и холода. В доме раскулаченного Павла Ерёмина поселили председателя сельсовета. Низ каменный, верх деревянный. Председатель спал наверху, в горнице. Утром вставал и подходил к большому окну: Павел Ефимович огромные окна в срубе прорубил, не по старинке, а размашисто, на городской лад. Председатель смотрел сверху вниз на своё село и думал о своей жизни довольно: вот и я пристроен. Председатель происходил из бедняков, встал под красные знамёна беспризорником, ногу потерял в уличном бою в Сызрани, хорошо знал,

как слямзить из-под носа у имущего его имущество, и наизусть затвердил закон военной улицы: бей первым! Они били первыми. Это было жестоко, но правильно. Без битья в морду новый мир не построишь. А по улице если шёл – от изб отворачивался. Все окна заколочены досками. Дома пустые. Шел дальше и видел: крыльцо, дверь крест-накрест досками забита, на крыльце лежит мёртвая мать, у неё на груди мёртвый младенчик. Около своего дома ночью замерзли. Дальше шёл, припадая на деревянную ногу: старик, скрюченный, у забора лежит, в руке сухую горбушку зажал. Милостыню-то подали, а поесть не успел. И шёл дальше по знакомой улице, и входил вместе с понятым, сельским кузнецом, и конопатым, с пьяным взглядом, ретивым комсомольцем в очередную избу, а там на полатях лежат дед и бабка, а дед тот прежде, до красной революции, трактир в селе держал, ну, значит, кулак первостатейный, и тряс конопатый комсомолец маузером, ощериваясь по-собачьи: «Прыгай с полатей, ты, кулацкий волк!» Бабка завыла волчицей. Старик спустил с полатей ноги в подштанниках. «Корову свели, а нас куда хотите? Давай уж сразу на утёс!» На утёсе могилы, сельское давнее, еще с царских времён, кладбище. Комсомолец ощерился сильнее и выпалил из маузера в матицу. Дикий гул заложил уши. «Выходи!» Старуха дрожала. Старик ожёг комсомольца взглядом: «Дай облачиться, щенок!» Конопатый наставил на деда наган: «На том свете облачисси!» Так в подштанниках дед и вышел во двор. Старуха семенила сзади. Успела лишь платок на голову чёрный повязать. Конопатый кричал, из его рта вился пар в морозном воздухе: «Староверы, кровопийцы! Мироеды!» Стариков загнали на подводу, и конопатый бил старика рукоятью нагана в суглобую спину. Вскочил на облучок. Взмахнул кнутом. Лошадь пошла, покорная. Пока стариков везли до сельсовета, оба отдали Богу душу. Скликали людей на собрание. Избу, где собрание проходило, окружали с пулемётами. Мужики из избы выходили и, щурясь, глядели на пулемёты: вон оно как. Под пулемётами забирали и угоняли. Пешим ходом шли до города, на вокзал. В переходе том зимою половина мужиков помирало. Баб, без мужиков, выселяли из домов играючи. Бабы шли по улицам с детьми и плакались громко: «Подайте хоть корочку! Ой, на смерть идём!» И правда шли на смерть. Смерть поджидала рядом. За обмёрзшим кустом; за развалюхой-сараем. В сарай вваливалась баба с ребятишками, перекоротать ночь. Осенние, зимние ночи длинны. Утром собака садилась на снег против двери сарая, выла, душу вынимала. Люди подходили и распахивали дверь. В сарае, на земле, лежала мёртвая баба. Детишки лежали возле нее, а самый малой – на ней, на груди. Голая грудь торчала из-под тряпок. Младенец искал еду, искал жизнь. Не нашел. Ни соска. Ни молока. Ни жёваного хлебца в холщовом кисете. Ни ложки теплой каши. Ни прозрачного шматочка сала. Ни размоченной в воде хлебной корки. Ни поцелуя, ни нежного дыханья, – ничего. На селе из уст в уста важный совет передавали: бегите отсюда! Бегите в город, в другие места, в дикие, детишек собирайте, баба пусть узел увяжет, лошадку в тележку впрягите, и айда! Тем спасётесь! Да разве от глада и мора библейского убежишь? Те, кто веровал истово, наперекор всем красным звёздам, двуперстие воздымали: наказанье на Расею Господне, провинилась Расея перед Господом, а вот чем, ну-ка давайте скумекаем! Народ, милый! Да куда ни убеги – везде чёрные кожи найдут! Всюду углядят! А конь, это же целое преступление против народа! Это ж, как ни крути, кулацкое удовольствие-то, лошадь! И никому ведь не продашь теперь! Если с конём – значит, точнехонько кулак! Ехал мужик на конный базар в Кинель, на подводе вёз сено, там же и сенной базар гудел, чтобы хоть сено продать и хоть какую копейку выручить, сено продаст, а лошадь к коновязи привяжет, по холке погладит: прощай, моя голубка, голубонька моя, лошадушка!.. – и уйдёт, оглядываясь украдкой, спеша, чтобы его не приметили, пальцем на него не указали и не донесли в милицию, не схватили: вон, вон он, кулак идет, мироед, лошадник! Лошадь косила сливовым глазом. Ржала тоскливо. Провожала взглядом хозяина. Часто ее отвязывали беспризорники и продавали на мясо и на шкуру. Сушите сухари, готовьте холщовые крепкие мешки! Дорога дальняя предстоит! И в ней, в дороге, смерть. К ней тоже надо быть готовым: крестик

чтобы на груди был. А если сорвут? Пусть сорвут. Грех этот тяжко на сорвавшего ляжет. Богто, Он в сердце твоем. Тебя сломали? Нет, не сломали тебя. Они думают, они нас сломали! Нас, народ! Ошибаются. Народ не сломаешь, как ни старайся. Жизнь, это путь. Это долгий путь. Вон они, твои сани. Садись. Детей в сани подсаживай. Узелок забрасывай. Сядь и сама пригрудь их к себе, мать, под свой старенький, еще бабкин вытертый тулупчик. Конвой кругом? Не гляди на него, не видь его. Видеть тебе твою стражу Бог запрещает. Как и нет их. Кричат? Не слышь. Стреляют? Что ж, значит, будет пуля и твоя. Длинно, тяжко ползет обоз в белой степи, бесконечно. Снег валит и валит. Метель воет и воет. Вон изба в буране окнами светит. Погреться бы! Нельзя, конвой запрещает. И то хорошо: а то разогреешься всласть, разомлеешь, и страшным покажется в телеги возврат, и лютым помстится бесконечный путь. Ты теперь знаешь, что такое Ад: это когда лошадь бредёт и бредёт по бабки в снегу, и катит и катит сиротьими полозьями телега, на дне ее кучки соломы, на соломе рогожа, на рогоже люди. Это твоя семья. Она сейчас жива, а через минуту мертва. Но, пока ты жива, молись за них! И тряслась, качалась с боку на бок в санях ли, в телеге мать, теснее подгребая под бока тяжело дышащих на морозе детей, и повторяла обмороженным ртом: «Богородице, Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших!» Дети замерзали на ходу коня. Подходил конвойный, брал околевшего ребенка на руки и выбрасывал из телеги в снег. Усмехался: погибай, кулацкое семя! Мать глядела на конвойного сквозь метель. Глаза ее наливались нездешней тьмой. У конвойного кружилась голова, в эти глаза смотреть. Он замахивался прикладом. Мать не отшатывалась. Под рукой ещё шевелились головенки. Из семи – двое последних. Ухмылка искривляла красное от мороза лицо стражника. «Сиди, мёрзни! Село проехали! Если доживешь до железной дороги – на станции погреться дам!» В обозе, в каждой телеге, умирали люди, и стражники то и дело выбрасывали их обочь дороги. Добрались до станции, лошадей увели сменить. Людей загнали, как лошадей, в маленький станционный домик. Мать держала на руках одного ребенка из семи детей своих. Раздалась команда: «Все по вагонам!» Люди поковыляли на перрон, иные залезть в вагоны от голода и слабости не могли, их подсаживали, толкали прикладами в спину, они падали на дощатые полы товарняка, на солому, пахнущую конской мочой. Состав трогался. Люди сбивались в кучу. Людей было много, и в вагоне воздух худо-бедно нагревался от общего дыханья. Богородице, Дево, радуйся и смотри! Это мы, и ещё живы мы! Спаси нас, Царица Небесная! Поезд шёл, стучал колёсами и вдруг застывал, и долго стоял, и отдирали слабые руки от стенки телячьего вагона доску, и просовывали в дыру последнего ребёнка, и глотка кричала, хрипела: «Люди добрые! Возьмите ребёночка! Не дайте ему с голоду пропасть, замёрзнуть! Нас на смерть везут! Вырастите! Не хотите растить – пустите побираться! Мы-то все умрём! Не все, но многие! Пожалейте! люди! ведь сердца же есть у вас!» Чьи-то чужие руки брали, подхватывали ребёнка; и не запомнить лица. Всё заволокнуто снежной мглой. В дыру от отломанной доски врывалась метель, била в лица рабов. Рабы молчали. Мать ложилась лицом на солому и тихо выла. В вагон врывался охранник. Наставлял винтовку. «Цыть вы! Я думал, собака тут воет! Застрелю бабу!» Мать поднимала лицо, всё в прилипшей соломе, и тихо, внятно отвечала: «Стреляй». Тогда взвывал весь вагон, и поднимались с заваленного соломой пола все люди, и кричали, и поднимали кулаки, и лица их становились на твёрдо сжатые кулаки похожи. Охранник пятился и выпрыгивал из вагона. Люди слышали его истошные крики: «В восьмом вагоне бунт! Они меня хотели прибить, гады!» Спокойный жёсткий голос отвечал истошному голосу: «А что ж ты зачинщиков не стрельнул?» Голоса ещё перебрасывались словами, но люди в вагоне не различали слов. Люди смотрели на одинокую мать. Платок сполз с её головы, и все увидели, что голова её белая. Белее метели. Доносились далёкие крики, будто кого-то били или мучили смертной мукой. Это в соседнем вагоне баба рожала. Крики то стихали, то огнём поднимались опять, полыхали. Брякнула отодвигаемая дощатая

дверь, и стражник внёс в вагон ведро воды: «Кружками черпайте!» Но люди не слушались приказа. Они бросились к ведру и припали губами к его замёрзшему краю. Отдирали губы, языки с кровью. Кровью плевались. Но пили, всё равно пили. Холодную воду, ледяную. Пить очень хотелось. Потом охранник скинул с плеч мешок, запустил в него руку и возопил: «Подходи по одному!» Люди выстроились в очередь. Конвойный каждому в руки совал кусок хлеба. Люди не сразу ели хлеб. Они им любовались, дрожали над ним. Потом прижимали его к щеке, будто к любимой, родной щеке прижимались. Потом нюхали, глубоко вдыхали. Потом целовали, в пригоршне держа, на весу, плача. И только потом ели, со слезами. Охранник раздал хлеб и подошёл к выходу. Ему в спину бросили снежком глухой, робкий вопрос: «А ребёнок, ну, что в соседнем вагоне родился? Мы слышали крики! А потом ребёнок запищал!» Стражник обернулся через плечо: «Мёртвенький родился. Мы его вышвырнули». Выпрыгнул из вагона и плотно задвинул доски, что плохо играли роль двери. Так и ехали. Так текла дорога, её надо было пройти из конца в конец. Другого пути не было, и другой жизни тоже. Многие думали об оставленном селе. Шепот ночной на весь вагон раздавался: «А вот у нас с пулемётами избы окружили, всех в сугробы выгнали, бежим по снегу босиком, аки Исус по водам, и от села уж изрядно отбежали, оглядываемся – а село-то подожгли со всех четырёх сторон, и избы все горят заполошно, истово горят! К небу пламя взлетает! Тут у нас у всех дыханье занялось. Стоим, дышать не можем. Жизнь наша горит! Какая хорошая жизнь-то была! Вспомнишь, так сердце сожмется в кулак! Красота была какая! И вот все обратилось в пламя. Огонь пылает! Мы стоим на ветру, под вьюгой, дрожим, все в исподнем, и бабы и мужики, ночью ведь с кроватей согнали, а в ночи огонь так красно полыхает, золотом горит червонным! Мы все в снег на колени попадали. Стоим и молимся! А супостаты нас по головам прикладами бьют: староверы, сучата, недобитки, что пялитесь?! пяльтесь, пяльтесь на ваше добро! Все, что нам надо было взять от вас, мы от вас забрали! Добришко ваше уж на грузовиках в район трясётся! А вы тряситесь тут, на морозе! Авось околеете все, передохнете! И незачем вас будет на поселенье везти! Небо советское только коптите, жируете, кровь нашу пьёте, клопы! И тут один из нас, старик древний, с белой бородой до пупа, оборачивается на эту речь. И глядит на окаянного солдатишку из-под бровей, а брови у него густые и тоже белые, белые, снега белей. И старик тот губы разжал и говорит этому щенку так, и каждое слово тяжелей кувалды бьет по голове: клоп это ты! А мы не клопы. Мы люди! И у нас есть Бог! А кто у тебя есть? Вожди твои красные? Вождь твой усатый? Врёшь ты все сам себе! Нет у тебя никого и быть не может! Потому что тот, кто присягнул одному земному владыке, присягнёт и другому. Кто однажды предал, предаст и вдругорядь! Иуда был один, а теперь развелось много Иуд! И кто рождён быть Иудой, так Иудой на всю жизнь и останется! Не родит его мать обратно! Вот наша жизнь вся горит. И ты, щенок, её сжёг! Власть твоя! Но ведь есть надо всеми нами, жалкими людьми, Божья власть. И не уйдёшь ты от Бога никуда! Даже если очень захочешь, не уйдёшь! Не убежишь! Бежать будешь, пяточки только засверкают, а Он тебя везде настигнет! И накажет! Время пройдёт, земля наша все узнает, как вы нас губили! Как власть губила свой народ! Как землю от народа своего отбирала! Как поганила её, обманывая нас, что холит и лелеет её! Гляди на свой огонь, что ты запалил! Всё сгорит. Да ведь и ты сгоришь. Только на пепел твой, на могилу твою люди, идя мимо, плевать будут. А нас, мучеников, молитвою вспомянут! И поднял руки над головой, заломил их и так стоял, глазами бешеными блестел. Борода белая на ветру развевалась. И мы все на него, как заколдованные, глядели. Старик этот в снежном поле том, в отсветах пожарища того был как Бог! И голос его рокотал грозно! И мы все закрестились и стали молиться. А щенок этот, солдатишко, видать, как с ума сошел. И ну в нас палить! И, сколько патронов там у него было в стволе винтовки, столько людей он там, во вьюжном поле, и положил. Кровь на снегу. Мы стояли и крестились, кто ещё жив был! А потом голос чужой как загрохочет: равняйсь! Смирно! В грузовики кулаков грузи!

На станцию езжай! Быстро! И мы все побежали к грузовикам. Бежали и дрожали. И так радовались живые, что живы! И мороз даже стал нипочём! Потом от страха на морозе обливались! Вот, милые, как я сюда попал-то. Прямёхонько от пожарища вселенского! Моё слово попомните: и они все, супостаты, сгорят! Обязательно сгорят! К гадалке не ходи, сгорят! А все, кто сгорел, чей пепел по земле рассеялся, те возродятся. Обратит тот пепел Господь в кости и плоть! И в дух – обратит!» И в дух обратит, повторяли все в тёмном трясущемся вагоне, и всем хотелось поглядеть, как это будет; и всем хотелось понять, какой он, дух, и увидать его в лицо, как человека, все глядели друг на друга, во тьме горели глаза и блестели в полуоткрытых ртах зубы, кто плакал, кто улыбался, все искали дух в ближнем, в том, кто сидел и трясся напротив на конской соломе, крестясь и плача, и думали: вот они красные, они смеются над теми, кто здесь, во тьме, сидит и крестится и молится, а может, в них тоже дух живёт, у них тоже, как и у нас, есть беда и горе, и может, подневольные они, и может, кто-то страшный, огромный нас всех люто обманывает тут, и нет конца-исхода этому обману, а все мы устроены так, что нам только счастье подавай, и вот вместо счастья нам ломоть горя, и нам надо съесть его, и неужели это Бог нам его, хлеб такой Свой, со слезами грызть, крошки с ладони губами жадными подбирая, и судил?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПАХОТА НА ЛЮДЯХ

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Пока мы Всибирь ехали пожелезнай дароге народу многа умерло. Пока мы ехали я старалас вспаминать что ранше было. Но вспаминать было очен тяжило. Пока ехали становилос так тяжило что прежная жизнь казалась просто щастьем. В камере хотябы надышат и станит тепло. А ввагоне особено ночю такая морозяка что думаеш доутра недоживёш. Я чтобы согретса прижималас к людям они меня негнали отсебя. Они меня даже обнимали. Так обнимемса все прижмёмса и едем трясёмса. Путь дальний конца ему нет.

(картина маслом. Художник сжёг от греха. Как ехали в Сибирь)

Телячьи вагоны, коровьи, лошадиные. Вагон трясется, поезд едет, а люди в соломе конские катыши находят и коровьи лепешки засохшие. Семьи едут, и едут одинокие. Едут, у кого смерть в дороге родню забрала. Дети плачут. Бабы иногда задирают лицо в темноте вагона, будто к небу; над ними качается вагонный дощатый потолок. Воют, как собаки. Мужики молчат. Теребят бороды. У всех за время пути бороды отрастают. Старик сидит, колени поджав, морщинистый коричневый лик в ладони уронив. Спина его воздымается. Ему тяжело дышать. Чтобы дышать, люди выламывают доску и глотают ветер носом, ртом. В углу вагона вместе со всеми трясётся поганое ведро. Иногда, если состав остановится резко, оно опрокидывается. Вот опять остановился поезд. Бежала вдоль вагонов охрана. Кричали солдаты, тряся ружьями: всем выходить! Оправиться! Высыпали на снег все, от мала до велика. Оправлялись на глазах друг у друга. Невдалеке от путей текла речка; ещё не замёрзла, ещё блестела чёрная лаковая вода крышкой федоскинской шкатулки. Молодёжь бежала к полынье. На ходу парни, девки сбрасывали одёжку. Мочи не было уже терпеть грязь и духоту, обуяла жажда чистоты, воды. Сдёргивали тряпки, наготы не стыдились. Прыгали в ледяную воду. Барахтались. Верещали. От вагона им кричали: так ведь до Крещенья долго ещё, куда в купелю-то бросились прежде срока! Охранники стреляли в воздух, возмущённые. Вопль разносился над белой степью: «По вагона-а-а-ам!» Задвигали доски. Паровоз выпускал густой пахучий пар. Люди шептали друг другу на ухо, будто кто их тут мог услышать: а в соседнем вагонишке параши нет, они прямо так, когда кто захочет. Ещё шептали: оттуда хотела одна баба дёру дать, ее застрелили. Ещё шептали: сегодня не свекольник принесут с крысиными хвостами, а настоящие щи. Шептали сердито: не настоящие, а пустые, разницу понимай! Ещё шептали откуда-то снизу, сбоку: это не крысиные хвосты, а свекольные! Я разницу понимаю, горько шептали в ответ. Свекольник, пустые щи и баланду разносили по вагонам в вёдрах. Счастлив был тот, у кого кружка, в кружку наливали. У кого кружки-чашки-миски не было, тот пригоршню подставлял, и горячее хлёбово плескали из половника в живые руки. Плакали и ели. Потом вдруг поезд останавливался, примерзал к рельсам плотно, навсегда. Солдаты кричали: выходи! Люди выходили и видели: рядом с перроном, у вокзалишка, усаженного голубями, как сизыми кругляшами бирюзы, стоят кошевы, сани, крытые возки – десятки, а может, сотни повозок. Из ноздрей лошадей валит пар, как из трубы паровоза. «Живей! В кошевы садись!» Люди спешили к возкам. Бабы садились, подобрав юбки. Ослабелые за время пути падали на снег. Их походя пинали, каких хватали за шиворот и волокли к саням, каких, охватив цепким взглядом, тут же пристреливали – не жилец. Рассовав людей по возкам, охрана командовала: вперёд! И люди, везомые лошадьми, ехали вперёд, а впереди показывала оскал черноликая, с цинготными зубами, гибель. Жить хотелось всем. Зима показывала ледяной кукиш: а вот тебе жизнь, человек! Сани катили по городским дорогам, по приметённым жёсткой снежной крупкой булыжным мостовым, по дорогам просёлочным, укатанным широкими полозьями, потом по снежной целине, где по снегу ходят только лисы и волки и падает в наметённые за ночь сугробы хитрая остроухая, пятнистая рысь с верхушки разлапистой сосны. Катили кошевы по льду встречных рек, по чёрному льду намертво застылых широких озёр, ныряли вниз с горы, и тогда люди вываливались из возков, лошадей осаживали, и под дикую ругань охраны люди снова набивались в сани, и слёзы их замерзали на морозе, а ресницы покрывались пушистым сизым, голубиным инеем. Посреди леса возки вставали. У лошадей ходили бока. От их потных шёлковых спин, не только от ноздрей, клубился парок. Лошади жили, и люди ещё жили. Люди, попрыгав с возков и утонув ногами в снегу, изумлённо оглядывались. Друг на друга глядели. Это оправка? Сам ты оправка!

Прибыли! Станция Березай, все вылезай! Далеко в лесу виднелось строение. «Мужики! Живём! Тут избы!» Над ним хохотали обидно. Это не избы никакие! Это заимка брошенная, нынче охотничье пристанище! Ну что встали, туда ступайте! Люди, утопая в снегу, тянулись к охотничьей избе. Сотнями набивались в избу, приспособленную для немногих охотников. Однако в избе всё было, что нужно, чтобы в тайге не умереть: спички, дрова близ печи, крупа в берестяном туесе на полке, соль в солонке, и даже, о счастье немыслимое, сухари в плотно увязанном мешке, повешенном от крыс на длинный гвоздь, вбитый прямо в сруб. А людей многие сотни! И иные у крыльца толпятся, наседают, а в избе народу уж столько, что сдавленные стонут и кричат: помилуйте, братцы, ребра хрустнут сейчас, помру! Как горшок каши и мешочек сухарей на всех поделить? Но делили же. И чай кипятили в старом медном чайнике; ставили чайник прямо в русскую печь, поближе к живому огню. И оттаивали, и кричали от боли в отмороженных руках и ногах, и обнимали друг друга, и смеялись счастливо – от тепла, от блаженства. А в дверь просовывал голову в треухе начальник охраны, оглядывал всех маленькими волчьими глазёнками и взвывал: «Здесь жить будете! Дома срубите! Вон леса сколько вокруг! Топоры дадим! Лишь друг дружку не порубите!» И хохотал взахлёб, нагло. Люди слушали тот смех и ели горячую кашу из прокопчённого котелка прямо руками. Тем, кто ел, повезло. Стоящие у порога ждали своей доли. Могли и не дождаться. Кричали: все в избе не поместимся, вы нам хоть палатки дайте! Охрана опять смеялась: какие палатки? – собиралась и уезжала. И уезжали все сани, и от них оставался на снегу тайги только тайный санный след, тень полозьев. Когда сани с охраной уезжали, среди людей поднимался плач. Он поднимался сначала к потолку, потом, через незакрытую дверь избы, к небу. Начинали бабы. Они лучше всех понимали, что скоро сгибнут они и их дети. Дети подхватывали дикую музыку. Даже сильные, бывалые мужики рыдали. Стоял посреди тайги охотничий сруб и весь ныл, гудел от тягучего, длинного стона. Так наружу выходило горе. Оно выходило, топталось на снегу босыми ногами около заимки и безмолвно, покорно уходило в лес, навстречу диким голодным зверям. Детей не волки съедали, не рыси загрызали: они метались в простудном тяжком жару, погибали от голода, становясь похожими на рыбьи кости-оглодыши. Привезённые охраной топоры летали и сверкали в руках мужиков. Если не был плотником, так тут станешь им. Мужики валили лес, тесали брёвна, как могли, возводили срубы. У первых изб не было крыш. Их застилали еловыми лапами. Пока избы вставали из смерти, из снежной мглы, людям надо было где-то жить. Делали снежные дома; рыли землянки. Кто-то стащил, пока ехали, из кошевы рогожи. Из тех рогож натягивали палатки. Это всё не спасало от смерти – она, веселая, пьяная от поживы, гуляла среди людей, играя острой косой, озорно кивая оскаленным черепом. Люди, ложась спать в землянках друг на друга, чувствовали себя мёрзлыми овощами. Вчера еще живая редька, живая свекла, живой репчатый лук. Где мёртвых хоронить? До земли не достучишься. И все-таки к ней пробивались. Лопату, спасибо, добрый солдатик оставил. Бросил, как кость псам: ройте землю, кроты! И в ней живите! Рыли, обливаясь потом, и от людей шел пар, как от лошадей. Сбрасывали тулупы. Стучали лезвием лопаты в жёсткую землю. Голос взвивался над толпой смертников флагом: «Так это же вечная мерзлота!» Это надо было осознать. Вечная мерзлота, это звучало медным похоронным маршем. Мужики упрямо били и били лезвием в смерть, рыли и рыли. От полудня до сумерек вырастала яма, рядом с ней гора ледяной земли. Плотники рубили гробы. «Как же на Страшном Суде, ведь из гробов восставать надо будет!» Срубы и гробы рубили без единого гвоздя. На всех гробов не напасешься. Махнув рукою, хоронили в ямах, и даже, как татар или башкир, не могли завернуть их в белые пелены: не было под рукою такой роскоши, белых шёлковых тканей да бязевых простыней, просто сваливали в яму тела и, плача, закапывали. Одною из первых для поселка изб рубили церковь. В лютой тайге оказывалось, что среди людей почти все верующие. Веру выжигали калёным железом, а она жила внутри, и, когда рядом задышала часто и хрипло смерть, вера стала жизнью.

В срубовую церковь, когда молились, набивалось столько народу, что дышать бывало нечем. Вместо свеч жгли лучины, щепу. Причастие творили так: из муки и воды катали шарики, тело Христово; клюкву, бруснику в кулаках давили, в бутылочку сок из ладоней сливали, кровь Христову. Крест он и есть крест, для батюшки сосновый вырезали. Пока свежая древесина, он, как и в забытом храме, золотом отливал. Батюшек средь поселенцев оказывалось изрядно. Священников будто хотели со свету сжить. Из новой красной жизни напрочь выжечь. В церкви, если особые холода лютовали, народ ночевал. Молились громко, вслух. Верили: стены святые, Бог спасет. Наступало утро. Мёртвых вытаскивали из-под живых. Живые крестились: спасибо, Господи, Ты мне жизнь оставил. Для ночлега плотники рубили в таежном храме нары. Так храм и темница становились одним; и не стыдно это было, ибо ведь и Христос перед Распятием в темнице ночевал и плакал, сцепив на коленях руки и уронив голову в колючем венце на избитую грудь. Вместо церковного колокола звонили в колокольцы, что лошадям вешают под дугой: парнишка с Урала в карман зипуна дома второпях затолкал, в тайге вовремя вспомнил о них, вытащил и батюшке сунул: на, пользуйся! Такой тихий нежный звон, а люди далеко его слышали; звоня в конские колокольцы, тихо улыбался батюшка и светлел лицом тот уральский парнишка, он был при нем самодельным дьячком. Читали все службы наизусть, кто что помнил. А после позвала людей к себе бабка, она с голоду помирала. На бок повернулась и из-под себя, из-под лохмотьев юбок, вытянула лохматую книгу. Кожаный переплёт будто собаки, кошки царапали. С тиснёного Распятия слезла позолота. Бабка тихо смотрела на людей. Глаза её слезились. Еле расслышали её голос: «Молитеся, православные! Псалтырь вам отдаю! Венчальный подарок! С собою вот увезла! Самое дорогое!» Батюшка принял из рук у бабки Псалтырь на руки, как младенца. Бабка отходила, и ей ещё успели прочитать отходную молитву и перевязать пуповину духа. Бабка умирала, а вдали слышался заливистый лай собак: приближались охранники. Люди выходили наружу из землянок, вставали на снегу строем. Охранники кричали: «Ну что, баню себе еще не срубили?! Дух от вас, как из ямы выгребной!» Тела людей покрывались язвами, струпьями. Язвы гноились. Кожа вспухала. Распухали от голода руки и ноги, становились как брёвна. По людям ползали вши. Мукой удавалось разжиться в ближнем сельце. Ближнее – легко сказать: до сельца иной раз было пятьдесят, сто километров. Срубили сани, а что за сани, смех один, полозья вдоль да доски поперёк, мужики впрягались в сани вместо лошадей и, перекрестясь, отправлялись в дальнюю дорогу, прихватив с собою все оружие, какое средь людей находилось: финский нож, ружейный шомпол, удавку. А если медведь навстречу из тайги выбредет? Шомполом проткнем! Бодрились мужики, но всё равно, когда уходили за едой, бабы крестили мужиков мелко и прощались с ними, как с покойниками, навсегда. Когда мужики, через неделю, живые, возвращались с мешком муки, радости людей не было предела: вокруг тех саней, с водруженным на них мешком, плясали, как возле первобытного костра. После зимы наступало лето. Летом мужики привыкли пахать и сеять. Поля поблизости не было. Реки тоже. Счастье, если текла река: она разливалась, и в поёмных лугах по теплу росли ягоды, таёжная, остро-пахучая черемша, гудели дикие пчёлы, их ведь можно было приручить, и зверья много всякого сновало, да не подстрелишь: ружьишка нет, хоть бы плохонького. Зверьё, не стыдясь человека и не боясь его, гуляло рядом! Нагло гуляло, радостно. Люди, идя за ягодами, натыкались на медведя: он, чуть присев, на задних лапах стоял возле куста малины и осторожно, аккуратно длинными чёрными когтями обирал алые ягоды с куста. Что делать? Рубить лес и корчевать пни? Можно костьми лечь, а поле не родишь. Не родишь и скотину; баба не родит своему мужику ни козляти, ни коровёнки жалкой, ни хрюшки, ни овцы дрожащей, а жаль, вот бы лучше родила! Баба тогда бы стала сама земля святая; а так она просто баба, и больше ничего. Пускались снова мужики в путь, поле искать. Вышли к разнотравью! Вернулись, радуют других мужиков и баб: с хлебом будем! А красная охрана запрещает сеять и жать. Чётко, зло говорят, когда приезжают

доглядывать поселенье: хлеб сеять запрещено! Бабы в ноги солдатам падали. Умоляли: ну позвольте, родные, разрешите! Ведь вашей крупы ненадолго хватает! А муку нам жалости ради в сельце дают! Милостынькой! А так бы мы сами все сделали, и вспахали, и засеяли! А где зерно возьмете, смехом охрана грохочет. Бабы встрепенутся с надеждой: да в том же сельце и возьмём! там люди добрые! там дадут! «А мы, значит, не добрые?!» Уезжали прочь на своих кошевах. В ту, другую, чужую жизнь. А бабы садились в круг на земле, обнимали друг друженьку за плечи и выли, и плакали, и пели: ох, где наша скотиночка-а-а-а… где наша сиротиночка… Ох, где моя козочка… где коровушка моя… да и где вся моя семья-а-а-а… Услышать, как мычит корова. Как блеет баран, вожак. Как лошадь призывно ржёт. Забыть, как запрягают в телегу коня. Как гладят его по потной холке, по шёлковому крупу, по шелковистой, висячей гриве, а поднимется ветерок – грива вьётся по ветру, так любо глядеть. Конь, коник мой! Коник мой золотой! Орлик мой, душа моя! Свели тебя в колхоз, все равно пустили под откос. И ржал ты там с тоски, ржал, а потом падал да помирал. И стою я здесь в тайге один, сам себе господин, стою средь чужих людей и владею я только смертью своей. Опять чекисты приезжали, огораживали посёлок колючей проволокой. Мужики удивлённо, робко спрашивали: а это ещё зачем? На кой ляд проволока? На них рявкали: молчать! это приказ! что проволока, мешает жить тебе?! для порядка! для острастки вашей, грязное быдло! Мужики катали на скулах желваки. Потом один, из всех, выступал вперёд и тяжело бросал, как припечатывал: вы ещё ток по колючке пустите. А люди, кого смерть подстерегала, уходили в тайгу, чтобы остаться со смертью наедине, – так умирают звери, уходят, убегают, чтобы никто из сородичей не видал, как они будут кончаться. И там ложились; и там, в тайге, истлевали. И маленький лисёнок или медвежонок, играя, катал по свежей юной траве их черепа. Люди и убежать пытались. Из тайги выходили на берег незнакомой реки. Шли, шли, и вдруг глядят – солдаты, и рядом пулемёты. Люди к солдатам бежали. Руки поднимали: спасите! помогите! с голоду подыхаем! Солдаты наставляли пулемёты и косили всех огнём. Бог всё это видел с небес, но никто не видел из людей, как Он слезу отирал. А чекисты с охраной прибывали в посёлок; ага, выжили, крепкие, значит, так вам самое оно с лесом валандаться, подъём, стройся, вот пилы-топоры, а вот тайга, иди вали! Даёшь стране леса, знаешь лозунг? нет?! повтори! И кричали хором, страшно рты разевая: «Даёшь стране леса!» Крик раскатывался по распадкам. Вот мужик и стал подневольный работник, вот и даёт леса стране. Платить ему не надо. Он житель темницы. Бабы жалостливо глядели на муку в пакетике: всё меньше становилась норма. «С голоду остатние помрём!» – вопили бабы. Мужики разлепляли рты: «Мы уже помёрли, бабы. От нас призраки одни. Вам только кажется, что мы мужики ваши. Тени мы». Одежда истрёпывалась. Лохмотья бабы сшивали смешными иглами, сделанными из крупных рыбьих костей. А нитки выдёргивали из мучных мешков. Наставало время, когда от старой одёжки ничего не оставалось, так дотла она сгнивала, истлевала. Тряпьё сжигали на костре. Из мешков в ящики вытрясали остатки муки и перловки. Бабы вырезали в мешках дыры для башки и пялили на себя: как платье, как холщовую понёву. Разрывали мешок и перешивали его мужику на портки. В отдельной избе, срубленной по приказу начальника, жили в посёлке солдаты. Их немного было: трое, четверо, – но у каждого имелось при себе, это понятно, ружьё. Мужики на ружья те косились. Это был великий соблазн. Ночью напасть, задушить! Оружие отобрать! Тогда всё, счастье, тогда и зверя можно большого в тайге подстрелить, охотиться как надо, да и… Не договаривали. Каждый думал о тайном. Если патронов довольно, можно и на заставу войной подняться! А куда бежать? Все равно найдут. С военными машинами; с танками; с собаками. Натравят собак, псы загрызут, позорней смерти не придумать. Уж лучше в бою пасть, стреляя. Многие мужики еще мировую войну помнили, и как в атаку ходили. Руки чесались. Бабы и дети все одно сгибнут тут от тифа, от недоеда, да просто замерзнут! Печи не из чего было сложить. Ни глины, ни камней, ни замазки. Печи рыли в земле. Там и варили, и грелись, и мылись,

вылезали из ямы все в грязи, вот так чистота, любо-дорого. Для мытья снег топили в том котелке, из которого кашу жидкую хлебали. Ну так что, пойдем войной на поганцев?! Бабы ложились животами на землю и обнимали мужичьи сапоги. «Родненькие, нас пожалейте! И вас убьют, и нас всех тут за вас, как уток на болоте, перестреляют!» Мужики мрачнели: нет, не перестреляют. С оружием мы сами кого хочешь перестреляем. И мучителей наших. Что, если? Все толпою стояли, задумывались над этой страшною мыслью. Никто не делал ничего. Руки на убийство не поднимались, а слёзы текли. Одна из баб сошла с ума, бежала, изранив в кровь грудь о колючую проволоку; выпросталась из-под колючки, изорвав одежду, бежала по тайге, охранники высыпали из избы и, щурясь на солнце, стреляли ей в голую, белеющую меж лохмотьев спину. Как в рысь, в росомаху, стреляли. Метко попали: всю пулями изрешетили. Бабу ту не разрешили хоронить, приказали бросить на съедение зверям в тайгу. Вопили на весь посёлок: «Так будет с каждым, кто попробует бежать!» Ночью к израненному телу заявился голодный волк, угрюмо и долго выл. Потом вой стих. У волка был нынче царский ужин. А другая баба удачно сбежала, ей повезло. Она долго, тайно готовилась к побегу. Пекла лепёшки и сушила их на задах поселка, в мешке, привязанном высоко к сосне. Люди выбрасывали старые тряпки, она их подбирала, стирала в талой воде, сушила и сшивала клочки: так сооружала утепление на случай холодов. Самое страшное, что с собою в путь взяла чужого малого ребёнка; не потому, чтобы спасти, а для того, чтобы, когда лепёшки закончатся, задушить и съесть. Она сбежала, за ней снарядили погоню, но её не нашли. Она отсиделась в зимней медвежьей берлоге. За время скитаний привязалась к мальчику. А одинокая была. Убивать его не стала. Питались ягодой, сырыми грибами, пили воду из таёжных речек и ручьёв. Рыбу ловили юбкой, верёвкою связав ей подол. Зверь их не тронул, и это тоже удача. Оба вышли на приречное большое село. Всюду вились на ветру красные флаги: советский народ отмечал день рожденья комсомола. Вид у обоих был страшный: обтрёпанный, дикий. Никого тем видом нельзя было обмануть. Баба пробралась к одному двору, стащила с верёвки юбку, кофту и мужичьи штаны, они ещё не высохли после стирки, в штаны обрядила мальца, закатав их до колен в тряпичные колбаски, сама всё сырое натянула, смеялась, ничего, на мне все высохнет, я горячая. Так явились в случайную избу. Повезло им: люди добрые оказались. Всё поняли сразу, да выгонять не стали. Одели получше, накормили, с собою в запас в торбу провизии дали и на дорогу до города денег дали. Мир стал как война, и на той войне важно было не только выжить, но и выбрать, как быть: то ли хитро укрыться, и тем упасти свою шкуру, то ли полезть на рожон, а это значит, себя уничтожить, да душу опять же спасти. Чем спасёшь себя, человек? Неужели снова трудом? А ведь да! Трудом! Посреди буреломной тайги, средь земли, к человеку жестокой, среди дремучего лютого леса трудился человек. Трудился мужик, и баба не только ведь плакала при нём и охала, но тоже трудилась: как могла. Сохи нет. Коня нет. Коровы нет. Подойника нет. Сетей для рыбной ловли нет. Топора нет. Пилы нет. Лопаты нет. Так это всё будет у нас! Будет! Трудом заработаем. Рыданьем выпросим. Жизнью купим. Всё у нас будет, бабы! И снова будете коров доить, теперь уже сибирских! А у сибирских-то коровёнушек ой какое бравое молочко-то! Жирнущее! Сплошные сливки! И топоры заиграют в руках; и лопаты землю вскопают, всколыхнут. Посеете, бабы, и зерно и овощ, не одну же дикую черемшу с болота глодать! Кто новой веры, кто старой веры, кто красной веры, а средь нас и такие есть, все думают, что партия ничего не знает про нас, что это все сплошная жгучая ошибка, – все к нам, все с нами! Рыбу будем ловить. В Сибири рыба в реках дуром плещется. Коней заведём. Сами, кровью своей мужицкой, в сельце жеребят укупим! Выкормим! Вас же выкормили, бабы! И детей выкормим! И жеребят, и козлят, и поросят! Жизнь наладим, на то мы и мужики! Они думали, мы помрём! А мы всё не помираем никак! Вот какая силища в нас! Попробуй нас одолей! Сами будете, бабы, одежду ткать. Станки мы вам сладим. Не век же вечный в опорках и обносках шастать! Хлебы будете сами в печах печь! Вкус и запах домашних хлебов вспомним! Когда впервые

испечете – зарыдаем, в руки возьмём, к лицу поднесём, поцелуем, как икону, и заплачем! Праздник будет не хуже, чем двунадесятый! Чем Пасха Господня! Так всё и будет, бабы, верьте! Бабы молча слушали мужицкую сказку. А назавтра приходила охрана. Выстраивала всех в ряд. Из соседнего поселенья убежали двое! Каждый пятый, вперед выходи! Бабы поднимали вой до неба: за что?! Ни за что, кричали охранники, дисциплина! Чтобы неповадно было! Звучали хлопки выстрелов. Падали окровяненные мужики. Бабы замертво падали на землю. Высоко, среди красных стволов могучих сосен, среди мохнатых, черно-изумрудных тулупов неохватных кедров, тонко свиристела таёжная птица, пела нежную песню.

(воспоминание о счастье: в телячьем вагоне)

…смуглое девичье лицо, глаза широко на лице стоят, раскосые, обжигают.

Смуглая девушка сидит на берегу реки.

Руки нежно сложила перед собою, положив на спинку стула.

Сидит на берегу, на старом венском стуле, кто-то стул выбросил, старый, исцарапанный, спинка выгнутая, дерево морилкой покрашено. Девушка села и сидит, на реку глядит.

Руки спокойно сложены, и глаза глядят вдаль.

Будто навек такой покой везде, и солнце, и счастие.

Нега такая в воздухе разлита. Нежная синяя дымка окутала реку и другой берег.

На другом берегу широкая песчаная коса, белое золото. Курчавые кусты, серебристые ивы гуртом подбегают к воде. Пьют воду, зеленые бараны. Ветер с шорохом, капризный и ласковый, гуляет по листве. Синяя дымка обнимает зелень, парит над золотом песка. Счастье и тоска.

Так не бывает, чтобы оба вместе, разом.

Так только сегодня получилось.

…вспомни всё. Есть время вспоминать, пока поезд колёсами стучит.

Река перекатывает световые пятна. Целует лицо вспышками. Гаснет. Между поцелуями тоже нужен покой. Чтобы счастье вкусить, осознать.

В лодке стоит мужик. Борода на солнце блестит. На дне лодки шевелится, прыгает рыба. Хороший улов. Нынче повезло, закинул сети слева, а они полны. Закинул сети справа… а они…

Раскосая девушка, сидя на брошенном старом стуле, крашенном тёмной, как земля, морилкой, нежно глядит на мужика. Он стар или молод? Ей всё равно.

Нежный дым синего речного, мятного ветра обвевает ей лицо. Она улыбается.

Сизая, голубиная дымка обвевает её улыбку, обнимает. Улыбка с губ улетает.

Ножки старого стула глубоко уходят в песок. Чайка слишком низко парит над девушкой.

Девушка может разглядеть её оперенье, её желтый клюв с обжигающе красным пятном.

Чайка чуть касается крылом головы девушки. Улетает.

Улыбка на губы девушки слетает с неба опять.

Солнечные блики на воде ходят по смуглому лицу кругами, вспыхивают, гаснут.

Мир вспыхивает и гаснет. Мир такой изменчивый.

Улыбнуться надо над ним. Над тем, что гаснет всё.

Мужик, серебряная борода, выходит из лодки на берег, ступая ногами в воде. По воде.

Вода доходит ему до колен.

Штаны выше колен подвернуты.

Ноги его вязнут в песке.

Руки его вытаскивают лодку на песок, привязывают цепь к колышку.

Рыба бьётся в лодке, подскакивает. Серебряная рыба умирает.

Девушка, сидя на старом стуле, глядит на мужика, улыбается.

Мужик вразвалку, по сырому песку, подходит к ней.

Нежная дымка окутывает обоих.

…вспоминай, пока товарняк идет. Пока вспоминать есть силы.

(земляная печка)

Утро восстало из утр; не считали уже ни утра, ни вечера, ни ночи, ели все меньше, умирали все чаще. Снаружи, из забытой жизни вольных людей, слышали то окрики, то ругань, то заливистый смех, и женские голоса мужики слышали, – но никто из мужиков во весь путь, и неизвестно, где его конец, а может, им скорей придет конец, чем пути, не заикался ни о каких бабах. Лишь молодой Кирюшка Смеляков тихо, мокрыми от слёз губами как-то в ночи шепнул на ухо Власу – спали рядом, крепко прислонялись друг к дружке, телами друг друга согревались:

– Не могу и подумати, Власушко… што они там, в Караваеве… енти… с моей Лушенькой исделают… ведь мене нетути рядом-то… нетути… делай што хошь…

Мертвенный, изголуба-серый свет луны лился сквозь дыру меж вагонных досок. В призрачном свете великой, уродливой болью сморщилось колючее лицо Кирюшки, из мужицкого лика ставшее за времечко пути голодной, длинной конской мордой.

– Ничево, Богу молиси, Кирюшка. Авось Он зла не попустить.

Чуть зеленоватой холодной пахтой лился тусклый свет в телячью дыру, с верхом наливал дощатый ковчежец вагона, люди тёрли кулаками глаза, стонали, крючась, подтягивали колени к подбородку и дрожали, – просыпались. Явственно слышно было, как поезд суетливо перестукивал колесами, замедлял ход.

– Опять станцыя, – прокряхтел старик Порфирий.

– Выходить, так, – кивнул Влас.

Ночь нехотя уходила, волоча за собой черный подол. В рассветном свете ярче, драгоценнее серебрились отросшие волосы Власа; они закрывали уши и жидким серебром лились на могучую шею.

Кирюшка покосился на трех рыжих мужиков из-под Кинеля; три брата, и сильно похожи они были меж собой, вроде как три сходных яйца из-под рыжей куры выкатили.

Поезд фыркнул, грубо ударил сразу всеми колесами, судорожно дёрнулся и стал. С грохотом откатили вагонную дощатую дверь. Внизу, на земле, стояли охранники; задрав головы, смотрели на людей в вагоне. И люди из вагоны сверху вниз, а будто снизу вверх, смотрели на охрану.

– Выходи!

Мужики переглядывались.

Из соседнего вагона на промёрзлую землю уже прыгали, колобками скатывались бабы.

Недалеко сверкала полоска реки.

Люди изумлённо оглядывали каменный вокзал, старинный, красивый.

– Вода текуча? Ай подо льдом? – сам себя вслух спросил Влас.

Кирюшка услышал.

– Да навроде лёдушко намертво сковал… Ить добрый месяц мы ехали сюды… А выежжали-ти в феврале, уж после Сретенья… Снега, снега-то шли и шли и шли… Я-то думал – тута весна вовсю…

Влас, расставив сильные ноги, живой рогатиной уперев их в землю, глядел вдаль, на схваченную льдом реку. Подковылял Порфирий Шушунов, подёргал Власа за локоть, скрючил спину, кулаком растирал и бил больную поясницу.

– А ты спроси, спроси-ко, Власушко, охрану спроси, што ето за речушка така! куды нас завезли! навовсе али передых нам тольки дать! а потом опять загонють в конский етот состав – да уперёд, уперёд! до самова Тихова окияна, небось, паровоз погонять… дымом подымять!..

Влас, раскачивая тяжелое мощное тело медленными шагами, запахнув на груди тулуп, приблизился к охраннику. Все они были для него на одно лицо; все безымянны. Но этот лицо обернул – и Влас попятился. Вместо лица у человека в фуражке с ярким околышем мерцала пёстрая маска, а из ям, дырок и щербин торчали два глаза – будто приклеенные, твёрдые как пуговицы, неживые.

Не вдруг Влас сообразил, что это – оспа: лицо человека зубами, как дикая кошка, изгрызла.

– Товарищ… скажи… пошто нас из вагона вывалили? Вить не воздухом подышати? ай?

– Ай! – передразнил его рябой охранник и высунул, как клоун в цирке, красный язык. – Всё! Прибыли!

– Куды прибыли? Што за станцыя?

– Юрга!

– Што за река?

Влас указал на блеск ближней воды.

– Томь!

– Игде Томь така? в какой земле?

– Сибирь! Шибче, шибче! Все вниз, к реке! Видите, баржа? Грузимся все!

Зорко, в оба следила охрана, чтобы ни один заключённый не убежал.

Все послушно потекли по заснеженной дороге вниз. Станция осталась позади. Ближе к реке подошли. То не лёд сверкал; то под солнцем, в оправе снегов и льдов, сверкала вода, и баржа слегка колыхалась на живой воде, расплывались по легким медленным волнам световые круги, люди взбирались на плоскую, как ржавая грязная сковорода, пристань и по трапам, замёрзлым, серебряно заиндевелым, переходили на узкую длинную баржу, и вот уже отвязали цепь, сняли швартовы с кнехтов, всех, как скот, пересчитали по головам, для острастки пальнули пару раз в белёсый, седой воздух, баржа отваливала от пристани и важно выплывала на стрежень, и капитан верно правил по течению к другому берегу. Уже виднелась переправа. Простые деревянные мостки, а дальше дорога, а дальше тоскливое белое поле.

Сходили с баржи, мужчины и женщины вперемешку, весь поезд на баржу уместили, и в голос заплакала баба, и тут же замолкла – выстрел, и бабий труп уже оттаскивали два охранника, и вся колонна шла мимо, не глядя на убитую, боясь глядеть: а вдруг и меня сейчас.

В поле скомандовали им: «Стоять!» – и встали среди снегов.

Стояли люди, сверху очень маленькие они были, эти жалкие черные фигурки, то ли жестяные, а может, оловянные; падали, их поднимали, а может, ветер их поднимал или страх, на снегу ногами переступали, в ладоши били, так согревались, обнимали друг друга, рыдали друг у друга на груди. Кто-то на снег сел и так сидел. Молча. Захватывал снег в горсть и ел его. Поле распахивалось, расширялось, кренилось в одну сторону, в другую, вставало дыбом, и по отвесно вставшей белой стене фигурки катились и падали, крича, в метель и ужас; и земля сама подставляла под них, валящихся и катящихся, свой твердый, укутанный в снега бок; и тонули люди в новом снегу, и катились в нем живыми чёрными брёвнами, и, может, мечтали, чтобы их скорей распилили и разрубили на дрова. А разве людьми топят печь земли? Топят, ещё как топят! Люди, это самое лучшее топливо! Ничто, ни уголь, ни нефть, ни торф, ни сосна и береза, с людьми не сравнится!

Люди, маленькие, чёрным зерном по белому рассыпаны… и выгибы холмов… и снежная, нежная земля качается, валится набок… хватайтесь друг за друга, иначе укатитесь далёко, туда, где пылает полярное Сиянье, ледяной костёр во всё небо… Зачем вас родили на земле? Зачем вас родили?

Поле. Это снег! Нет. Это же земля!

Ройте землю! Все! Здесь жить будете!

Да как жить?

Да чем рыть?

Эй, братушки! дайте же хоть лопату!

Нет у нас для вас лопат! нет ничего! ройте хоть руками, ногтями царапайте! Всё! Прощайте!

Слёзы захлестывали глотку.

Про… щай-те… Ребятушки, они с нами-ти… попрощевалися… Ето значицца, всё, всё-о-о-о…

Влас обвел людей долгим взглядом; взгляд его длинно, тоскливо плыл над людьми, как та прощальная, погибельная, через Томь, баржа.

– Люди! Ветки собирайте! Вон лесок поблизости! Ветками, щепками рыть снег зачнём! И до землицы докопаемси!

– А у мене што есь! – Кирюшка Смеляков наклонился, пошарил за голенищем и вынул нечто, остро, длинной рыбой чехонью блеснувшее на солнце. – Нож!

Влас, ставши белым как снег, закрыл Кирюшку всем своим мощным телом от косящихся на толпу охранников.

– Тише… упрячь… ить оне ищо не ушли… вот ужо уйдуть…

Кирюшка, дрожа, заталкивал нож обратно за голенище.

Рыли, рыли, рыли. Замерзали иные, падали в снег лбом и так застывали. Фигуры чёрные, фигуры серые двигались по снегу, кто ползал на карачках, кто в рост стоял, возвышался. Думал, и думы шли смертные, прощальные. И Влас думал, остервенело, жестоко разрывая холодную землю толстой крепкой веткой лиственницы: если к вечеру не выроем ямы – погибнем: в яме можно огонь развести, в глубине земли угреться можно.

Веткой ударял в железную землю, как ножом.

А тут рядом Кирюшка настоящим ножом ударял, слои земные подцеплял.

На Кирюшкин нож с завистью мужики глядели.

– Эй! Дай, Кирилл, покопать!

Кирюшка скалился страдальчески.

– А ну как дам, а ты мене возьми и убей! и на мясо, как порося! а?!

– Об чём ты, – тихо бросил ему Влас, – Оспода-ти побойси…

Кирюшка ковырял землю молча.

Рядом голосили бабы.

Мужики оглядывались: охранники куда-то делись, может, за лесок покурить и оправиться ушли, а может, и навовсе их тут, грешных, покинули.

Когда солнце повернуло на закат, тут все всё и поняли.

И еще ожесточеннее, обреченней рыли; будто хотели дыру прорыть к самому горячему, пылающему сердцу земли. Туда, где Ад, на сожжённой церковной стене намалёванный неумелою огненной кистью, да звериная, с чёрной, смоляной пастью, Геенна огненная.

А женщины-то быстрее землянку вырыли; небольшую ямину, в половину роста человеческого, и на том спасибо. А мужики поглубже старались.

Кирюшка подошел к женской яме и заглянул туда. По его вискам из-под шапки лился пот.

– Ну што, бабы? Утрудилиси? Как она, могилка-то, удалася?

– Иди ты!

Баба в мохнатых платках махнула на Кирюшку рукой, и толстая рукавица легко, как птица, слетела, да недалёко пролетела, шмякнулась в сугроб. Баба по-мужицки выматерилась, с трудом нагнулась, подобрала рукавицу и вытерла у себя под носом.

– А што машесся-то, будто муха я?

– Ничево! Ступай свою рой!

И тут из-под земли, из ямы той бабьей, выскочила тощая девчонка, лицо угластое, щеки ввалены, скулы деревянные торчат, глаза косые под лоб рыбами плывут, с лица уплывают, из-под шапчонки коска в виде верёвки свисает, меж лопаток мотается, шубёнка выше колен, выросла она из неё, и смешно видать чулки шерстяные, тканые, а валенками снег загребает, велики валенки ей. Утюжит ими снег, а личико своё нищее, утлое тонущей лодчонкой к большим мужикам закинула. Вся – на воблу похожа, на высушенную по лету на леске рыбёшку; и грызть ту чахлую воблу никто не сможет, ибо – не угрызешь, а только зубы все поломаешь.

Девчонка эта непонятно, быстро, и правда как уклейка, под серебряной водой плывущая, метнулась к яме, что рыли мужики, и подбежала к Власу, и снизу вверх на него глядела.

И Влас сверху вниз на тощую девчонку глядел.

– Ну што? Што таращисси? Гляди глазёнки на снежок-от не выкати!

Не зло, добро смеялся. Потом враз умолк.

Уж очень пронзительно глядела девчонка.

Будто глазёнками своими рыбьими, белыми просверливала в глазах его две жарких дыры и добиралась до огненного черепа; до того, чего он сам в себе боялся и не допускал сам себя туда. А вот она, поди ж ты, влезла. Без мыла!

Влас отвернулся. Лиственничная ветка, твёрже железа, выпала из его окоряженных, обмёрзших пальцев.

– Ну што… – повторил он уже не бойко – беспомощно: как ребенок нашкодивший.

И враз осел в снег. И по его лицу тёк пот, и по спине, под зипуном, тёк, и ноги в снегу торчали ледянее железок, а девчонка эта, вобла, цапнула ветку, что выпала у него из руки, ловко прыгнула в яму, и он отсюда, из снега, где сидел без сил, видел лишь ее сгорбленную детскую спинку в повытертой шубчонке и ушатую цигейковую шапку, и уши, развязанные, мотались в такт ее движеньям, а надо бы крепко завязать те меховые уши под подбородком ей, глупой, ведь теплей же будет.

Преодолевая стыдную слабость и дрожь в коленях, Влас встал, обвёл глазами белый простор. Повсюду, у ям, что рыли и рыли отчаянные руки, лежали мёртвые люди. Живые – копошились в ямах, тихо плакали вокруг ям, засматривая внутрь земли. Влас шагнул вперёд и не прыгнул – скатился в яму. На дне ямы вперемешку трудились, рыдая, слизывая со щёк слёзы, мужики и бабы. И дети. Кроме той девчонки, воблы, шустрили тут, копошились детки, изо всех малых силёнок помогая взрослым делать то, что делали все они: себя спасать. Дети грязным и золотым пшеном рассыпаны были меж мрачных взрослых отрубей. Влас упал на колени. Ноги не держали. На коленях, по мерзлоте, подполз к земляной стене. Запустил в нее ногти. Стал бессильно карябать ногтями черную земляную сталь. Мерзлота не поддавалась живым рукам. Он грыз пальцами землю и плакал.

– А вот, – подскочило к нему дитя, детский голосок он услыхал, – вот у меня что есть.

Глаз сам скосился. Прежде всего глаз увидел детскую лапку, и без варежки. Пальчики цепко держали крышку из-под консервной банки. То, что находилось в банке, давно уже съели. Глаза побежали дальше, по рукаву шубчонки. Так и есть. Она, Воблочка сушёная. Вобла взмахнула консервной крышкой и вонзила ее в земляной чёрный мороз. Отвалился кусок земли и упал к ногам Власа. Счастливы были те, кто тут топтался в валенках; он же как ехал, так и сгружен был на берег Томи в сапогах, и ноги уже до костей промёрзли.

– Рой, – кивнул Влас, – добро, рой. Лопатка знатна у табе…

Девчонка обернулась на шутку. Оскалила зверьком угол рта. Глазной зубок у неё то ли выбит был, то ли сам выпал.

– Я и так рою. А вот ты зря ногтями. На вот. А я отдохну.

Девчонка сунула ему в руку жестяную крышку, и зазубрина вонзилась ему в палец, и кровь потекла, и он не почуял.

– А ты отдыхнёши?

Переспросил, будто бы не расслышал.

Кивнула. И ещё, ещё кивала, как будто он был глухой и не понял, что она такое сказала.

Вокруг них толклись люди; и над ними бежали люди, и под ними; ложились трупами им под ноги; свистели безумные песенки, себя подбадривая; матерились; всплакивали отрывисто, одиноким криком, напоследок выкрикивая внутри земли, в ее чёрной толще, что не могли или не успели выкричать на её яркой поверхности, а может, всё, что на земле с ними было, всё это им всем приснилось, а настоящая жизнь – вот она, здесь, сейчас, в этой разверстой громадной ямине; и ещё копошится, ещё дергается и горячие, горючие слёзы льет.

Он ковырял острой жестью землю, и кровь текла по его ладони, а боли не было. Девчонка стояла рядом и пристально глядела на него, и опять её глаза прошивали Власа насквозь двумя швейными безжалостными иглами. Бело-серые, жёсткие, и вправду как железные; такие у мёртвых рыб глаза бывают.

Больше не рыбалить никогда на Волге, Волженьке; не взрезать брюхи рыб вострым ножом, не потрошить, не бросать в кипящую в котле на костре воду; не тащить из реки сеть и не наблюдать с наслажденьем, как в ячеях живое серебро играет.

– Што, Вобла, – вне себя, уже весь душою выйдя из себя, слабым шепотом спросил он, – отдыхнула-ть? ай нет ищо?

Девчонка наклонилась и крепко почесала колено в груботканом тёмном чулке. Влас ловил легкое шевеленье ее губ – так он глядел бы на призрачную бабочку, что среди лета, в мареве, присела на цветок и медлит сладкую пыльцу собирать. И дрожит крыльями.

– А ты что, уже уработался? А жить-то хочешь?

Она это шепнула, а слова отдались под черепом у Власа, как под куполом храма.

Он склонил голову.

– Хочу.

– Тогда – копай!

Влас бесстрастно скреб жестью земляной отвал.

– У тебя кровь течет, – сказала девчонка. – Хочешь остановлю?

Он сел на корточки перед нею. Она взяла его руку и вдруг быстро, как зверёк, облизала тёплым языком. И губами отсосала кровь, и сплюнула; а потом протянула ладонь над ранкой и стала бормотать, и дышать, и закатывать глаза, и Влас видел её перламутровые рыбьи белки из-под белёсых колких ресниц. Кровь перестала течь. Девчонка открыла глаза и зевнула, как после сна.

– Что? Не течёт?

Он кивнул, не в силах говорить.

Никто на них не глядел; не тревожил их; они, внутри раскопа, были среди людей и вроде как одни, и люди дышали и шевелились отдельно от них, необъяснимо. Зачем все тут? Он забыл, как ехали сюда. От цигейковой шапки девчонки, от её волос и лба пахло вяленой рыбой. Что они будут тут есть? Друг друга? Сейчас грянет об землю ночь. И все они уснут вповалку, друг на друга упав, навалившись живыми дровами; и утром кто-то из них не проснется. Никто не проснется, если не сделать то, что надо сделать сейчас. Вот сейчас.

Он силком заставил себя вернуться в ямину, ощутить вокруг себя ещё живых людей.

– Эй! Людие! Бросай рытьё! Вместить уж ямина нас! Бежи на опушку, тащи из лесу хворост! Крышу плести зачнём! А я буду земляну печку рыти! Прямо тута, в землянке! И ею отопимси, и обогреемси!

Шевеленье возникло вокруг него, легкий гул стал подниматься к небесам; слишком далеко, над черным скопищем голов, виднелось высокое белое небо, оно на глазах синело, наливалось тёмной кровью близкой ночи, вот уже ночь рушилась на ямину, на ещё живых людей, кто возился в ней, повторяя кротов; люди стали вылезать из землянки, вперевалку, как медведи, бежали к лесу; кое-кто лёг на бочок на дно земного ковчега, подобрал колени к подбородку, подобно больным куницам или горностайкам, – хотел замёрзнуть, тихо заснуть. Влас тормошил обезумевших. Влас кричал:

– Не спитя! Не ляжитя! Шевелитеси! А ну вон, в лесок! Хворост мене нужон! Хворост!

Но люди в глубине земли все больше становились похожи на зверей. Лица мужичьи небритые шерстились. Глаза, в особенности женщин, горели дико, люто. А детишки, они и есть детишки: задыхались, падали, замирали, – подбитые птицы.

Власу впору было пинать несчастных. И он, поворачиваясь туда-сюда, людей – ногами – под рёбра толкал! Словно сам был жестокий надзиратель за ними!

– Вставай! Не спи! Не спи! Не…

Тощая Вобла сунулась ему под ноги. Наступила валенком своим на его грубый сапог.

– Что ты так орёшь-то. Все мы тут всё слышим. Глотку-то не надорви.

Он впервые расслышал голос Воблы: тощий, тонкий как она сама, бесцветный, белый голосок, голосишко. Она крошила его, чёрствый, над головами, будто голодных птиц кормила.

В ямину из рук тех, кто вернулся из леска, посыпался первый хворост. Бабы тут же взялись за плетенье. Ветвяная крыша должна была уберечь от бурана, от ветра. Влас сел на корточки и рьяно рыл в большой ямине ямку помельче.

– По кой роешь-то?

– Печка будеть. Инако околеем тута.

Вобла утерла нос костлявым кулачком.

– А огня-то где найдём?

– Найдём! был бы розжиг.

Сверху послышался топот, вспыхнули крики. К их яме бежали.

– Товарищи, товарищи! това… Живём! живём! У нас котел рыбацкий есть, с баржи парни стащили! И мешок муки есть! Это – солдаты дали! Сказали, бережно расходуйте! лишь по весне другой мешок привезем!

Женщины заблажили.

– А-и-и-и-и! а што жа ись-то будем! а детки!

– Мешок один – мало! мало до весны!

– Кору глодать?!

Мужики разводили перепачканными землёю руками. Серебром, золотом возгорались и гасли во мраке закопчённые, голодные, подземные лица.

– Да река рядом, река, рыбы тута, в Сибире, навалом, я слыхал…

– Охота тут знатна! да ружей-то вить у нас нетути, мужики!

– Ружей нет? у твово Кирюшки вон – нож! с ножом будем на медведя ходить!

– На медведя… али на человека?!

– Хотишь сказать, у крестьян, братьёв наших, с подворья – красть будешь?

– Типун табе…

Влас сидел на корточках и, вздувая желваки на щеках, рыл яму для печи. Вобла сидела рядом, тоже на корточках, и глядела: то на лицо ему, то на руки.

Яма была вырыта. Влас посмотрел на Воблу.

– И что?

– И ничево. – Влас возвысил голос. – Эй! Мужики! У ково огонь есь! Огоньку дайтя!

Вобла быстро, ловко, голыми худыми ручками во тьме мерцая, наломала хворосту и насовала его в ямку. Бабы накидали туда кто что: рваную ветошь, клочки газет, что в карманах завалялись, мусор, щепки. Мужики сверху бросали тонкие стволики берез, наломанных в ближнем леске. Жратву печке приготовили на славу. Глаза Власа горели бешеным весёлым мраком из-под насупленных седых бровей.

– Разожги, разожги…

– Тольки нас не сожги!

Вдруг люди все замолчали. В мёртвой, морозной тишине – в ямине уже было надышано десятками ртов, и ходил меж головами и лицами тёплый, пахнущий голодом живой пар – молчание, вместе с людьми, стояло и ждало, когда Влас разожжёт огонь, и разожжётся ли он, а то, может, и не займётся.

Вобла стояла рядом. Покусывала мелкими зубками бледные рыбьи губы. Влас на неё не косился; опять он видел её всем собою, кожей всей.

Влас встал на колени перед ямой.

Из тьмы высунулась мужичья рука, протягивала коробок спичек. Влас слепо взял из грязных пальцев синий коробок, покачал на ладони: лёгок, и спичек там – мало. Драгоценный огонь, сокровище, ну возьмись, возьмись…

– Возьмися, друже, – ласково, слёзно шепнул Влас спичке в своих огромных скрюченных пальцах.

Из-под пальцев вырвался яркий золотой язык, подразнил всех и живо сгас.

Цокнул языком Влас досадливо. Вобла положила тонкую руку на плечо его, успокаивая, ободряя. Эта малая лапка ему зипун прожгла.

– Не отделаюси я от табе… не отлипну… и ты не отлипнеши…

Вобла стояла молча. Ждала и смотрела.

И все смотрели и ждали. А что было делать?

Влас ударил другою спичкой о серный край синего коробка. На миг коробок помстился ему куском лазурита: такой из-за Волги башкирцы на сельский рынок у пристани привозили, баяли, с Урал-камня, из копей, а ещё перед ним изумрудами вертели, их острые сколы огнем играли, а ещё серьгами с кошачьим глазом, дорого просили. Он долго глядел, ходил меж рядов, любовался на копчёных лещей, лещи отсвечивали красной медью, вертел в руках ситцевые, в разнотравных цветочках, отрезы, потом опять к башкирцам подвалил, и всё-таки купил у них Земфире забавку: перстенёк с неведомым камешком; при дневном свете сиял зелено и прозрачно, а при лампочке Ильича наливался густой кровью и мрачно горел, зловеще. Земфира глядела на него, вертела рукой, а потом изрекла: «Когда зелёный, это я девушка, а когда кровавый, это моя бабья судьбина». Влас пытался похохотать, да не вышло. А башкирцы всё сватали ему на том рынке лазурит, всё, ломая язык, балакали: «Купи хазяй, купи хазяйка, хазяйка цепка вдень, наси на гарудь, радуйса!»

Цепка… вдень… радуйся…

Внезапно рука Воблы обвилась вкруг его шеи. Такой живою тонкой цепкой. Без варежки; и тонкие детские пальцы под подбородком, как пса, его щекотали.

И не мог он руку ту отдернуть своею рукой, отлепить, отбросить вбок.

Сложил ладони. Берёг огонь. Спичка потлела еще миг и снова сгасла.

Дружный вздох вырвался из глоток. Зароптали люди.

Но никто, никто не выхватил у Власа из рук синий спичечный коробок.

А чужая девчонка стояла и все обнимала его за шею. Как родного.

Влас поковырялся в коробке, вытащил третью спичку.

– Бох Троицу! Любить-от! – жалко выкрикнул во тьму, в пустоту.

Да, людей в землянке, в глуби земли, стояло и жалось друг к дружке много; а он выкричал про Бога и Троицу – в пустоту. Внутри пустота таилась или снаружи? Он не знал. Поглядел: в коробке оставалось четыре спички.

– Значицца, огонь надоть тута все времена жечи… никогды штоб не угасал…

Взмахнул пальцами. Живо, весело вспыхнул меж пальцев третий огонь.

– Ну, третье пламешко… не подведи, дружечко, а… не подкачай-от…

Окунул руку с пламенем в кучу хвороста. Глубже посунул, под ветки, в самую сутемь вырытой ямы. Согнул спину, будто молился. Поцеловать изножье Распятия будто хотел. Морщился: огонь вцепился ему в голую руку, грыз её. Но Влас из пасти огня руку не вынимал. Ждал, пока разгорится пылче, мощней.

– Да… да!.. терпи… – услышал он шёпот над собой.

И он терпел до последнего.

С воплем выдернул руку из уже весело, радостно горевшей ярким огнём земляной печи.

– А-а-а-а!

И тут живая верёвка скользнула прочь с его горла, он задышал, вскочил на ноги, Вобла быстро пролезла у него под локтем, как-то странно шатнулась, будто стала часовым маятником живым, и сдёрнула с себя цигейковую шапку, и прижалась голой растрепанной головёнкой к его груди, к штопаному еще Ариной Филипьевной, старому овечьему тулупу.

Бабы сплели из хвороста ветвяную крышу. Угнездились в первом их земляном доме, набились, плотно прижались боками, – человечье тесто о многих головах. У мужиков из-под Котельнича оказалось старое тощее одеяло; один мужик ехал в товарняке, так ночью в него и заворачивался. Кричал на всю землянку: «Много наших ночьми околело! И из вагона выкинули! А я вот жив! Жив!»

Одеялом тем – головы укрыли. Надышали под ним. Тепло стало. Или казалось лишь, что – тепло.

Наутро, еще затемно, проснулись – бабы зачали лепешки печь на воде; воду так получали: снег в ладонях топили. А вместо противня нашли на дороге неведомую плоскую железяку; может, от крыши избяной или от баржи кусок. Влас жадно глядел на ближний лесок.

– Топор, хотя б один, у ково есь?

Молчанье обняло всех. Пахло жареным тестом. Забытый дух – блинов, пирогов. Ноздри раздувались, обоняли память и тоску.

– Нету, Влас Игнатьич.

– Ничево! Раздобудем! Тут село рядом. Я туды, рассветёть, отправлюси.

Нарыли еще землянок, на всех хватило. Влас принес топор из села, а еще пилу; дали с возвратом, и Влас честно возвернул инструменты. За это ему подарили целое ведро парного молока. Нёс ведро, уже почти донёс, парок над молоком на морозе вился, бабы уже ладони ко ртам прижимали и плакали от радости, – носком сапога за кочку зацепился, упал, молоко разлил. Всё снег поглотил, земля впитала. Бабы ревели от горя. Коровами мычали. Дети щупали проталины и тоже плакали. Влас собрал детей в кучу и с ними опять побрел в село. Вернулись все веселые, довольные, кричали мамкам: «Нас досыта молочком напоили хозяюшки!» Матери детей крестили, снимали с них теплые шапки и в макушки целовали. Это было счастье.

Влас брал топор, пилу, шел в лесок, мужики увязывались за ним. Он сам командовал мужиками, говорил, что да как надо рубить, пилить, как укладывать, чтобы бревна и доски притирались друг к дружке без гвоздя.

– От подклета до крыши могу избу исделати! – выпячивал грудь Влас.

Сильно он исхудал. Одни глаза со скуластого лика в мужиков, в баб свинцово глядели.
– А крышу-то как же?
– А тако! Сперьва слеги покладём, на них еловы кокоры!
– А печь какова будет?
– Да все та ж, земляная, и будеть! Землица нас, грешных, не оставить!
– А спать-то все вместе будем?
Мужики работали попеременки: то один топором помашет, то иной.
Влас смеялся. Разглаживал бороду.
– Дык как жа! Тако и будем, как спали! Бабам теснотища така нравицца!
– А мы думали, срубим с горницей, с сенцами…
– Дык избу рубим или все ж барак?
– Барак, барак! Нонь не до избы! Вот обсмотримси… обживемси…

Только возвели барак – и ударили звонкие, серебряные холода. Куржак густыми камчатными махрами, кистями с ветвей свисал. Если воздух вдохнуть, ноздри слипались. Барак срубили без перегородок. Бревна из лесу на себе таскали. Пилить дети помогали, кто постарше. Утром и вечером Влас ставил тех, кто веровал, на молитву. Но молились – тихо, со слезами – все, даже краснознамённые, даже неверующие. И бывшие солдаты первой мировой, и трактористы, и плотники, и столяры, и газетчики, и фельдшеры, и малые, плохенькие бабенки, со взглядами как у погрызенных собаками кошек – на мир глядели вроде напоследок, а жить хотелось, – про то и молились.

А после первого барака, помолясь, на замёрзлые ладони поплевав, мужики возвели ещё бараки.

Так все вместе в тех бараках и поселялись.

Ближе к теплу Влас наново отправился в село Зыряново, на берегу Томи – у переселенцев кончился запас муки. Зёрна, для посева, выпросил: посулил при урожае сам-третей вернуть. Таяло на солнышке; Влас наклонялся, уцеплял щепотью землю, растирал в пальцах, в ладонях. Землица мягкая, чёрная, жирная, родить будет хорошо. Не подведи, матушка Сибирь!

Крестьяне села Зырянова вняли твердому, басовитому голосу переселенца. Зерна – на посевную – в мешок отсыпали. С собою муки дали, тоже мешок. Зыряновские бабы насовали в банки солёных огурцов, правских груздей. «С голоду у вас ить детишки помруть!» – «Ничево, не помирають покаместь. В товарняке вот помирали. За ноги, за руки из вагонов вытаскивали бездыханных. Серце кровью обливалося». Зыряновские мужики придирчиво обглядывали Власа, его поношенный тулуп. «Ты про сев, мужик, а пахать-то чем будете? Аль у нас снову соху заклянчите, а то и плуг?» Влас глядел на исцарапанные свои сапоги. «Плуг ежли дадите – в ножки всем поклонюси».

(весна в Сибири)

Солнце сибирское припекало, снег обращался в неистовую веселую воду, играющую на солнце сотнями искр, и вода та стекала ручьями в Томь, и лёд на Томи стал трескаться, вспухать, подаваться и вставать дыбом, и вот уже все переселенцы сбежались, на берегу стояли и сверху вниз глядели на ледоход.

Ледоход ворчал, шуршал, льдины даже визжали, тёрлись друг о друга, а когда дыбом вставали посреди реки – звенели, раскалываясь, гремели; и Власу, да не только ему, им всем чудилось, что это не лёд идет – это плывут по реке ошмётки их жизней, их ветхих времён: понёвы и чуни, старые лапти и мрачные хомуты, бороны и грабли, рыбы на дне лодки, сияющие жидким серебром, какая высоко, отчаянно вспрыгивает в жажде жить, а какую уже убили – по башке багром; ворочаются гусеницы тракторов, а может, это гусеницы страшных танков канувшей во тьму войны, тут же и гуси, и утки, и на льдинах собаки заливисто лают и над мёртвыми страшно, длинно воют, и кто это меж тоскливо воющих собак ходит, руки к небу воздев?! о, да это же Богородица Курская Коренная, в густо-алом, цвета крови Христовой, Пасхальном гиматии поднимает руки, и из её ладоней, из двух белых маленьких солнц, льются медовые лучи на тяжёлые льдины, на мир, что рушится и трещит по швам, на лица людей, что не сыты не голодны, а живы вопреки всему, и бабы вскрикивают глухо, потрясённо: «Спаси нас! Сохрани нас, Матушка!..» – а вместо льдин плывут по широкому быстрому теченью, по синеокому, пронзительно яркому плёсу сундуки и могильные кресты, придорожные ветхие голубцы и сожжённые, в куски изрубленные святые иконы, свадебные платья, что на бинты да на перевязки смертельно раненым безжалостно пошли, – и сразу тонут, не успев со льдины в тугую волну соскользнуть, револьверы и пистолеты, самовары и чугунные утюги с пылающими внутри углями, и колокола, колокола со всех церквей по крутым, по отлогим берегам, их сдёрнули, сорвали да к воде волокли, чтобы навсегда утопить, навовсе! Жизнь, люто взорванная и на камни, на щепки растащенная, мимо плыла, и сверкали на льду осколки разбитых лампад, и горели на льдинах костры, а близ огня сидели ребятишки, грелись, к огню руки тянули, и дети, кто стоял на берегу, шире глаза распахивали – детей, мимо плывущих, навек запоминали; плыли расшитые гладью и крестиком полотенца, пуховые козьи шали, намокали водою и медленно шли, опускались на дно, и долго ещё в прозрачной воде мерцало белое, снеговое пятно узорной, ажурной вязки. Плыли на льдинах, уперев слабые ноги в ноздреватый, тающий серый лед, телята и козлята, зверьи сироты, новорождённые бычки, искали нежными губами мамки убитой вымечко; жеребята с золотыми шёлковыми гривами тихо ржали близ трупа кобылицы, убитой выстрелом в длинный, как бутыль, череп; медленно проплывали чернобрёвенные баньки и сгнившие сараюшки – знать, по весне, жалкие, в реку с обрыва сползли да так, ровно корабли, и поплыли. Жизнь плыла и уплывала, а люди стояли на берегу и глядели. И слёзы плыли у них по лицу, плыли и мимо лица и так же, как ледоход сей, уплывали, и нельзя было ни одну дорогую сердцу льдину остановить, изловить за талый, на глазах холодной руиной становящийся ледяной хвост. Осыпалась тающая льдина, тонула в реке, и напрасно тянули руки люди: мощное течение не видело их, река не слышала их, она видела лишь солнце, по шляпку белым гвоздём вбитое в высокое весеннее небо, да слышала лишь птичье пенье по обоим берегам, да звон ручьев, да собачий, а может, волчий вой из светлой, туманной, в тёплом мареве, синей дали, из простора да воли.

Влас со всеми вместе стоял на берегу и созерцал ледоход. Он вспомнил ледоход на Волге. Жигули грозно топорщились по одному берегу, по другому; и человек вроде становился вровень с горами, а грохот льда на Волге стоял, как в грозу, аж уши закладывало. Себя мальчонкой упомнил; потом – юношей, и как рыбалить ходил, когда еще лёд не сошёл;

и тёрлись льдины грязными серыми спинами о борта лодки, и вынимал из воды, тянул сеть, хищным весёлым глазом уже подцепляя бешено, предсмертно играющую рыбу. Блаженные деньки! А когда ж все рухнуло? И, главное, зачем? За что? За что вся эта мука им?

Прошибло: да ведь святые тоже мучились. Они и прозываются: святые мученики.

– Ишь куды хватил, нахалюга ты, – сам себе прошептал, – в святые захотел, хотельщик…

Ледоход, что явился перед ними передо всеми целым, из тающего по весне времени, потерянным миром, потерянным Раем их, шёл и уходил, и уплывал, и ничем было его не вернуть, даже самой горячей, о чуде, молитвой. Чуда! Чуда! Да разве будет с ними чудо? Чай, не при Христе живут.

– Нетути для нас Ево второва пришествия… Черещур нагрешили мы… нагадили…

Дети сбегали по берегу к ясной воде, окунали в нее пальцы, палки, кто-то палкою пытался с плёса – льдину подтянуть, а она, как рыба, вырывалась, ускользала.

Солнце на землю лилось жёлтым густым молоком. Влас поднял к солнцу лицо. Щеками, веками, налитыми слезами, как горькой водкой, слепыми глазами ловил лучи, живое тепло. Долгой эта первая зима была. Долгой и горькой. Да теперь им полегше станет. Глядишь, и хозяйство наладят. А как крестьянину без хозяйства.

А как ему – в силе мужику, по хозяйству руки и душа стосковались – да без бабы?

Рядом, близко, в толпе стояла Вобла.

– Ну, куды ж тут… ента – малявочка совсем… дажа и помыслити не моги… – сами по себе, ухмылисто, усмешливо бормотали обветренные губы.

Вобла почуяла его взгляд, прокралась сквозь людей ближе, ближе. Вот рядом встала. И не отлепишь! И не отлипнет! Так его везде-всюду глазом и выцепляет!

– Влас Игнатьич, – носом шмыгнула. – Глядишь?

– А што, глядети уж заказано?

– Да нет, – носом, дитё, опять хлюпнула. – Гляди себе на здоровье. А сегодня что делать будем? Тепло уж. Может, пахать?

– Коней-то нетути.

– А мы на людях!

Смеялась уже во весь рот, без звука, только в горле у неё что-то хриплое, как у лесной птицы, перекатывалось и трещало.

– И правду говориши, девка, – утёр рот, пальцем по усам провел, – на людях будем, боле не на ком…

– А плуг в бараке лежит?

– Тама ляжить. Да.

– Тяжёлый!

Ближе придвинулась к нему. И он не отодвинулся.

– Чижелай, да. Да енто ничево. Справлюси.

– Сам будешь за плугом идти?

Не отвечал, смотрел, не нагибаясь, в прозрачные, холодные камни ее маленьких, косо вдвинутых под лоб глаз.

Опять шмыгнула. Ладонью под носом мазнула. Ладонь о юбку вытерла.

– Ну, а меня в упрягу возьми. Вместо лошади!

Уже смеялся.

– Куды табе? Ты ж не сдюжиши.

– Сдюжу!

– Не сдюжиши!

– Сдюжу!

– Смолкни, а!

– Сдюжу, тебе говорю, дурак ты мужик!

Баба поблизости оторвалась от созерцанья солнечной реки и последнего льда, сердито на Воблу глянула.

– Экая девчонка дерзкая! Влас Игнатьич, это она вам говорит «ты»? Да дураком честит? Ах ты охальница!

Вобла отмахнулась от бабы рукой, как от мухи. Умоляюще смотрела на Власа.

Сердце Власово стало вдруг маленьким, он сжал кулак, а оно копошилось в кулаке отчаянным птенцом, что смерти не хотел, хотел только жить, и больше ничего.

Руку разжал, Вобле на голый, нагревшийся под солнцем затылок положил.

– В упряжке моёй – пойдеши. Пойдеши! Обещаю.

И тут девчонка засмеялась звонко, хорошо и ласково, будто разом зазвенели на мёртвой дальней, забытой церкви тонкие, птичьи колокола.

– Ха-ха-ха-ха! Спасибо! Спасибо! Спа…

Оглянуться не успел – поймала его руку, как воробья летящего – коварной сетью, и прижалась губами. Рыбьими, мокрыми. И он руку не отдёрнул, не осадил девчонку, не наругал.

А она подняла личико замухрыстое и снизу вверх глядела на него, господина, а он сверху вниз глядел на нее, высохшую Воблочку, да за такую на рынке в Караваеве горе-рыбакам и гроша ломаного не давали.

– Пойду в упряжке твоей!

Сказала – как отрезала. И сама отшвырнула прочь его руку, и он руку скрючил и от стыда – за пазуху упрятал, будто несмываемое клеймо, ожог, издали заметный, поставила она на его волосатой ручище своими узкими, холодными, влажными губами.

Ледоход издавал шорох и треск. Это рушилась, разламывалась надвое природа; эта земля за зиму стала им родной, и нынче надо было вспахивать ее, осеменять, – чтобы зачала, чтобы родила.

А после созерцанья ледохода все вернулись к баракам.

Нынче главный, самый большой барак, что срубили первым, делили на комнаты перегородками: бабы взмолились о том – кого семьями забрали, те шибко страдали, то и дело в лесок скрывались, чтобы мужу и жене побыть вместе. Да и детки хныкали: стыдимся, стесняемся раздеться, все глядят, боязно! Влас решил тонкие стены возвести, барак на секции разделить. Всё людям удобнее будет житьё. Не гуртом станут жить, а по-божески: семьёю.

– Ну, бабы… отдельну избу кажному семейству я тута вам не построю…

Вокруг Власа гудели мужики, разрумянились на речном, ледоходном ветру. Земля, чудилось, пружинила под ногою, уже такая тёплая стала, размягчилась, разнежилась.

Уж топоров прибавилось у мужиков; кто в село бегал, подмогнуть, тому вместо денег инструмент лишний от сердца отрывали, вручали. Поселенцев – жалели. А кое-кто, одинокий, уж за зиму эту и обжениться успел: в Зырянове девицы на выданье имелись, и, как отцы ни вопили на дочерей: «Пошто те ссыльный дурень, нищеброд!» – без венца, без попа девки в избу ссыльных парней приводили. И, делать нечего, в семью сибиряки волжан, поморов, вятичей – принимали. Так мешалась, перемешивалась земля и роды ее, малые отродья, щепками, ветрами в чужие просторы заброшенные; так смыкались, слипались в ночи, на чужих кроватях со стальными посеребренными шишечками, молодые огневые губы, играли языки, стискивались крепче, все крепче объятья, и уже забрюхатели первые зыряновские девки, и гордо носили пуза свои вдоль заплотов, вдоль суровых, будто из чугуна выделанных изб. Здесь, в Сибири, избы мощные, бревна громадные, а оконца крохотные: от мороза так тут крестьяне спасаются. Мороз, он тут точно палач, умертвит тебя, ежели в тайгу за зверем или за ёлкой убредёшь, и поминай тебя как звали.

Схлынули морозы. Праздничное солнце пляшет, машет золотой рубахой на полнеба. Семьи отныне будут хоть и в каморках ютиться, да зато в своих.

– Власушко! Начинай!

– Начнём, мужики!

И шёпотом добавил:

– Помоляси.

Бесслышно помолился, сам про себя:

– Дай, Осподи, силушек на ново дело, Табе угодно. Осподне вить дело то. Укрепи и охрани семьишки наши, в глухомань енту сосланы, от хвори и напасти, от беды лютой. Укрепи веру нашу, хто в Табе, Осподи наш, веруеть… а хто не веруеть – ну пущай гуляить дале, пущай так на свободе лютой, на холодной без веры-ть и помрёть! – Наложил крест на себя. Уже громко возгласил: – Давай, мужики!

И замахали мужики топорами.

А бабы стояли и глядели.

Выблёскивали топоры в руках мужиков, вздувались мышцы под их тулупами, куртками, стариковскими зипунами, и вот уж стали скидывать они с себя теплые зимние одёжки, и на рубахах их медленно, тёмными пятнами, выступали пот и соль, и стряхивали они пот со лба, с бровей, отирали ладонями мокрые лица, и мозоли на ладонях у них вспухали и болели, и дули они, смеясь, на ладони: «Это ничево! Да это ж разве беда!» – вся беда бедовская с ними уже приключилась, а теперь надо было двигаться им всем, идти им только к празднику, потому что Господь заповедал человеку на земле: в поте лица возделывай хлеб свой, но Мои праздники, двунадесятые, вынь ты Мне да положь, – и вот это тоже праздник был: взмахи топоров, блеск лезвий, игра в крепких мужичьих руках топорищ, красным золотом блестевших под яростным солнцем, что набирало силу и высоту, сосновые и лиственничные стволы, освобождённые уже от ветвей, источающие смолистый терпкий дух, – и вдруг один топор с топорища соскользнул, ударился о пахучее сосновое бревно, отскочил и полетел стальной гранатой в толпу баб, и стоял Влас, рот разинув, – видел, что лезвиё летит прямо на его девчонку эту липучую, на Воблу эту ледащую, – и ничего, ничего сделать не мог.

Да просто – не успел бы.

И ведь не зажмурился. Стоял, руки с топором опустив, смотрел, как железная случайная смерть в его приблудную девчоночку летит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.